

ХОДОРЕВ С.В.

МАЛЬЧИК И ЗАБОР

A black and white graphic illustration. In the background, a chain-link fence is visible. In the foreground, a silhouette of a young boy is shown from the side, reaching his right arm up and touching a strand of barbed wire that is draped over the fence. The title 'МАЛЬЧИК И ЗАБОР' is written in large, bold, white Cyrillic letters across the middle of the image, following the curve of the boy's arm.

18+

Сергей Ходорев

Мальчи и забор

<https://litres.ru/74596854>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мальчик и забор» — исповедь о детстве, где свобода — миг между решётками.

Сергей с ранних лет познал холод: не только сибирские 40, но и тот, что в родном доме — где мать не жалеет, а отец уходит, не оглядываясь. После череды побегов его отправляют в спецшколу — за забор с колючей проволокой, где учат не жить, а держаться. Он снова и снова пытается вырваться — не от незнания, что поймают, а потому что не может перестать пробовать. На улице — беспризорники, короткие минуты тепла и Марина, подарившая крестик и булку с сосиской: «Не благодари. Просто носи». Её забирают, а Сергея — снова система.

Это не вымысел, а правда без прикрас — о том, как надежда живёт, пока ты тянешься вверх, даже когда колючка режет руки. 18+.

Сергей Ходорев

Мальчи и забор

ЧАСТЬ I

Пролог

Сергею уже 41 год. Кажется, сама цифра звучит как приговор — столько всего должно было успеть случиться, столько дорог должно было пройти, столько раз жизнь должна была дать шанс всё исправить. Но жизнь изрядно потрепала Сергея, и вряд ли можно сказать, что у Господа на него были какие-то светлые планы. Он и сам в это давно не верит.

Сорок один год. Если произнести это вслух, получается совсем короткая фраза — два слова, несколько слогов, и всё. А за этими слогами — целая жизнь, прожитая так, что иной раз и не хочется, потому что там, позади, ничего такого, из-за чего хотелось бы обернуться. Разве что тащит за собой, как прицеп на буксире, груз воспоминаний, которые и выбросить нельзя, и носить тяжело.

Всю жизнь Сергей задаётся одним и тем же вопросом, который крутится в голове, как заезженная пластинка, и не даёт покоя ни днём, ни ночью: для чего он живёт на этом свете? И пусть его всю жизнь оберегает ангел-хранитель — а Сергей в глубине души даже благодарен ему за это, ведь сколько раз он был на волоске от гибели, — этот вопрос никуда не уходит. Он звучит в нём каждый день, тихий, упрямый,

невыносимый: «Для чего?»

Иногда, в бессонные ночи, когда больничная тишина давит особенно сильно, он пытается отмахнуться от этого вопроса, как от мухи — но тот возвращается, садится на плечо и шепчет опять. Не громко, не требовательно — а так, ровно, монотонно, как капает вода из крана, которую никак не закрутить до конца. И Сергей перестаёт сопротивляться, просто лежит и слушает этот шёпот, потому что ответа у него нет, а тишина без вопроса была бы ещё страшнее — в ней вообще ничего нет.

Сейчас он прикован к кровати. Уже полтора года. Больничная палата стала его миром: четыре стены, окно, за которым меняются времена года, но почти не меняется пейзаж, и кровать, которая теперь решает за него, где он может быть и чего может хотеть. Бурная, жестокая, торопливая жизнь берёт своё: раскрошились позвонки, тело, столько раз выдерживавшее удары судьбы, наконец сдалось. Теперь он лишён даже малейшей самостоятельности. Каждый поворот головы, каждый вздох даются с трудом, а о том, чтобы встать, не может быть и речи.

Палата — маленькая, стандартная, каких тысячи в больницах по всей стране. Потолок с трещиной, которая за полтора года стала ему знакомой, как родинка на лице близкого человека. Шкафчик у кровати, на котором стоят пластиковый стаканчик с водой и часы — единственные его вещи, которые он может назвать своими. За дверью — коридор, по

которому ходят медсёстры, шуршат их тапочки, иногда кто-то громко разговаривает по телефону, не стесняясь больных. А Сергей лежит и слушает этот чужой, далёкий мир, который живёт своей жизнью, совершенно не нуждаясь в нём.

Лёжа в этой тишине, нарушаемой только шагами медсестёр и писком приборов, Сергей перебирает в памяти обрывки прошлого. Он вспоминает то, что помнит из своей молодости, и хочет донести до читателя простую и горькую правду: жизнь далеко не всегда бывает прекрасной и доброй. Она бывает несправедливой, холодной, безжалостной — и именно такой она была к нему.

Память — странная вещь. Она не идёт по порядку, не раскрывает страницы одну за другой, как аккуратная книга. Она выхватывает куски — иногда яркие, до рези в глазах, иногда мутные, словно в разбитом зеркале. И Сергей не может выбрать, что вспомнить, а что убрать: память решает за него. Она приносит то запах мороза на северной улице, то боль в обожжённых ладонях, то голос матери — сухой, без единой теплой ноты — и тогда он просит: хватит, не надо больше. Но память не умеет останавливаться.

Он хочет опровергнуть расхожее убеждение, будто мать не может не любить своего ребёнка. Хочет показать, что бывает и по-другому, и что эта другая сторона тоже имеет право быть увиденной. Не для того, чтобы кого-то обвинить, а чтобы кто-то, возможно, читая эти строки, понял: он не один такой, кому не хватило любви, кому приходилось выживать,

а не жить.

Родители Сергея живы. Это само по себе могло бы звучать как утешение, но для него это не утешение, а ещё одна тяжесть. Мать по сей день с ним не разговаривает — будто между ними не годы, а глухая, непробиваемая стена. А отец ничем не в силах помочь: и потому, что не знает, как, и потому, что сам давно привык жить с этой тишиной. При этом Сергей за всю свою жизнь ни разу не просил у них поддержки — ни когда был мальчишкой, ни когда стал взрослым, ни сейчас, когда оказался в самом уязвимом своём состоянии.

Гордость? Обида? Привычка справляться в одиночку? Наверное, всё вместе. Так и течёт его жизнь: в тишине, в воспоминаниях, в попытках осмыслить пройденный путь.

Иногда он думает: а если бы попросил — что было бы? Если бы пришёл к отцу, сел напротив и сказал: «Помоги мне, я не справляюсь»? Но он даже представить себе это не может — не потому, что отец обязательно отказал бы, а потому, что за всю жизнь у него не возникло привычки просить. Не выросла в нём эта способность — как не вырастает дерево в горшке, где нет земли. И теперь, когда он лежит и физически не может поднять руку, ему кажется, что именно этого — умения попросить — ему не хватило больше всего. Не денег, не здоровья, а простого, детского: «Пап, помоги».

Впереди — рассказы о его молодости. Там будет много непростого: и воровство, и жестокость, и решения, продиктованные безысходностью. Но Сергей не стремится ничего

приукрасить. Он просто хочет честно рассказать, как всё было: ему тогда просто некуда было деваться. И если ты, читатель, ждёшь красивой истории с хорошим концом — её здесь не будет. Будет правда. Горькая, неровная, местами стыдная, местами невыносимая, но настоящая. Я не буду сглаживать углы и подстраиваться под чужие ожидания. Хочу лишь постараться рассказать всё так, как помню, без прикрас и без оправданий. И если эти истории окажутся тебе интересны — я буду благодарен.

Глава 1. Сорок градусов

Ночь накрыла северный город плотной, ледяной вуалью. Сергей брёл по тёмным улицам, и каждый его шаг отдавался в стылом воздухе сухим хрустом — будто сама зима ломала под подошвами тонкую корку наста. Мороз кусался безжалостно: термометр у магазина тускло светил цифрами, и там было минус 40. Для этих краёв такой холод был привычным, почти будничным, но для мальчишки он стал врагом, который не давал ни секунды покоя.

Сорок ниже нуля — цифра, которая в учебнике физики выглядит как строчка из таблицы, а на лице, на руках, в лёгких ощущается как удар. Дыхание тут же превращается в колющий пар, ресницы слипаются от инея, а кончики пальцев, если не прятать их в рукава, через несколько минут перестают слушаться — немеют, деревенеют, и ты с ужасом понимаешь, что уже не чувствуешь, где твои руки, а где куртка. Город в такую ночь не живёт — он стерпит, он переждёт,

как медведь в берлоге. Редкие окна тлеют тусклым светом, а уличные фонари стоят, как часовые, обросшие инеем, и их свет почти не пробивается сквозь морозную дымку.

Он шёл и ломал голову: где бы сегодня найти хоть каплю тепла, где переждать эту бесконечную ночь. Ветер цеплялся за тонкую куртку, пробирался сквозь швы, заставлял ёжиться и ускорять шаг, хотя сил почти не осталось. Пальцы ныли, будто внутри них уже поселилась собственная, отдельная боль, независимая от остального тела. Он сжимал кулаки, пытаясь удержать хоть крупицу тепла, но мороз только смеялся над этой попыткой.

Куртка была совсем тонкая, из тех, что покупают не для севера, а для прогулок по осеннему парку где-нибудь на юге. Она давно отслужила свой срок: молния на половину не закрывалась, подкладка вылезла и свисала лохмотьями, а в рукаве, у самого манжета, зияла дыра, через которую ветер залезал, как рука в перчатку. Сергей прижимал локти к бокам, стараясь уменьшить площадь, которую ветер мог достать, и шагал, шагал — не потому, что знал куда, а потому, что стоять на месте означало замёрзнуть окончательно.

Наконец взгляд зацепился за двухэтажный барак — потемневший, покосившийся, будто уставший сопротивляться времени и холоду. В окнах не горел ни один свет, и это было даже хорошо: значит, люди спали, а значит, меньше шансов, что кто-то заметит мальчишку и прогонит.

Барак стоял чуть в стороне от дороги, за покосившим-

ся забором, из-за которого торчали сухие стебли бурьяна, sticking up, как антенны, замёрзшие в одном положении. Стены его давно потеряли первоначальный цвет — то ли серый, то ли коричневый, а теперь просто тёмные, с потёками от дождей и снега, с облупившейся штукатуркой, под которой виднелась серая, как кожа старика, кладка. Крыша местами провалилась, и через дыры шёл пар — значит, где-то внутри, в какой-то из квартир, топили печку. Но на лестнице, куда Серёга направил свои шаги, тепла не было.

Внутри было не намного лучше, чем на улице: температура отличалась лишь тем, что здесь не свистел ветер, не швырял в лицо колючую снежную пыль. Тишина стояла глухая, тяжёлая, будто дом затаил дыхание. Мальчишка поднялся на второй этаж, медленно прошёлся вдоль дверей, собирая коврики, брошенные у порогов, — они пахли пылью и чужим бытом, но сейчас это был единственный шанс сберечь остатки тепла. Он старался не думать о том, что берёт чужое: мысль об этом только добавляла тяжести, а ему и без того было тяжело.

Коврики были разные: один — войлочный, грубый, колючий, серо-бурый, с подпалинами; другой — резиновый, с ячейками, в которые набился песок и мелкий сор; третий — совсем тонкий, тряпичный, но зато мягкий. Сергей складывал их стопкой, прижимая к груди, и шёл дальше, стараясь ступать как можно тише. Один раз где-то за дверью хлопнул замок — и он замер, не дыша, прижавшись спиной к стене,

с ковриками на груди, как боец с щитом. Прошла минута, другая — тишина. Он выдохнул и двинулся дальше.

Потом он спустился вниз и отнёс свою добычу под лестницу, спрятав так, чтобы утром, когда люди пойдут на работу, никто не заметил пропажи. Он разложил часть ковриков на полу, а остальными укутал ноги, будто пытаясь обмануть мороз, убедить его, что тут есть хоть какое-то укрытие. В кармане нашлась сухая корка хлеба — вчерашний остаток, жёсткая, почти каменная. Он грыз её медленно, стараясь растянуть этот скудный ужин, и, насытившись хотя бы на мгновение, залез в куртку с головой, до самого верха застегнув молнию. Так он устроился на ночлег. Но сном это назвать было нельзя: лишь короткая, тревожная дремота, когда тело вздрагивает от каждого шороха, а холод всё равно пробирается под ткань, сковывая мышцы. Ночь тянулась медленно, будто издеваясь над его усталостью.

Под лестницей было темно — абсолютно, до звона в ушах. Где-то наверху, на площадке между этажами, капала вода из проржавевшей трубы: кап — и тишина, кап — и опять тишина, каждый капель — как удар метронома, отмеряющего время, которое не двигалось. Сергей лежал, свернувшись калачиком, обняв себя руками, и пытался представить, что ему тепло — что он лежит не под лестницей в чужом бараке, а дома, в кровати, под одеялом. Но образ дома не держался — рассыпался, как мокрый картон. Дома у него не было одеяла, которое грело бы. Дома не было вообще.

В шесть утра он снова открыл глаза — не столько проснулся, сколько сдался перед неизбежностью нового дня. Кости ломило так, будто за ночь мороз успел проникнуть прямо внутрь, стянуть суставы ледяной коркой. Каждый шаг отдавался тупой болью, но он всё равно пошёл к ближайшей остановке.

Утро наступило, но не принесло с собой тепла. Небо было серым, низким, как потолок в подвале, и от него шёл такой холод, будто оно было не небом, а крышкой гигантского холодильника. Серёга поднялся, отряхнул с ковриков налипший сор, осторожно выглянул из-под лестницы — не видно ли кого. Двор был пуст. Он перекинул коврики на место, где они лежали — авось никто не заметит, что их двигали, — и вышел на улицу. Мороз ударил в лицо, как мокрой ладонью: мгновенно заledenели щёки, нос, лоб. Он опустил голову и пошёл.

Автобус ПАЗ пришёл, лязгнув дверьми, будто ворча на ранний час. Мальчишка пробрался к заднему ряду и сел там, где сбоку у стены была батарея. Тёплый металл отдавал слабое, но такое нужное тепло. Он прижался к нему, чувствуя, как понемногу отпускает сковавшая тело стужа, и снова провалился в сон — на этот раз глубже, спокойнее. Так и проспал до обеда, до тех самых двенадцати часов, когда город уже вовсю шумел, жил, спешил по своим делам.

ПАЗ был старый, раздолбанный, с треснувшими стёклами, залепленными скотчем, и с сиденьями, обтянутыми по-

тёртым дерматином, из которого торчал жёлтый поролон. Внутри пахло бензином, мокрой обувью и застарелым табаком. Но Серёге этот автобус казался раем — здесь было тепло, здесь можно было сидеть, а не идти, и здесь не было ветра. Он прижался щекой к тёплому металлу батареи и закрыл глаза, и на какое-то время — впервые за долгие часы — его тело расслабилось, отпустило, будто сказало: ну вот, теперь можно немного отдохнуть.

Раньше в таких автобусах было проще: проезд был бесплатным, а водители не прогоняли тех, кто просто хотел согреться. Теперь всё изменилось, но привычка искать тепло осталась. Когда солнце поднялось выше, а батарея остыла, мальчишка снова встал, размял затёкшие плечи и пошёл по своим невесёлым делам — искать, где бы раздобыть хоть что-то, чтобы протянуть ещё один день.

День у Серёги как-то сразу не задался — словно сама осень цеплялась за город холодными пальцами и тянула из него последние силы. А годы и правда стояли не сытые: 1992-й, время, когда привычный мир будто треснул по швам, и каждый выживал как умел. Денег почти не было, а где заработать подростку в маленьком северном городке — вопрос без ответа. И от этой пустоты в кармане и в будущем становилось особенно горько.

1992-й. Год, когда взрослые ходили с потерянными лицами, когда магазины стояли с пустыми витринами, как люди с пустыми глазами, когда зарплата, если и приходила, то

не деньгами, а какими-то талонами, которые иной раз и потратить-то было не на что. Страна менялась, ломалась, перестраивалась — а на периферии, в маленьких северных городках, от этой перестройки оставалось только эхо: закрытые предприятия, пьяные мужчины, женщины с серыми лицами в очередях за хлебом. И посреди всего этого — мальчишки вроде Серёги, которые не понимали, что происходит, а просто хотели есть.

Но Серёге сегодня хоть немного повезло: в пекарне он ухитрился стащить свежий, ещё горячий батон — такой, что от него шёл густой, хлебный дух, и даже в промозглом воздухе этот запах казался чем-то почти волшебным. А на рынке, у зазевавшейся продавщицы, он ловко прихватил пару яблочек — твёрдых, кисловатых, но настоящих, не пластмассовых, как в витринах пустых магазинов. С этим скудным уловом он и бродил по улицам до самого вечера, пряча батон под куртку, чтобы тот хоть немного дольше хранил тепло. И всё равно от этого тепла было как-то совсем мало толку — оно быстро уходило, оставляя после себя только сожаление о том, что жизнь стала такой жалкой и мелкой: радоваться куску хлеба, как большому подарку.

Украва батон, он не чувствовал ни радости, ни стыда — только голод, который наконец-то получил хоть что-то. Хлеб был ещё тёплый, мягкий, и корка его, золотисто-румяная, хрустела под зубами с тихим, уютным звуком, который стоял в ушах, заглушая всё остальное. Серёга ел быстро, жадно,

отламывая куски и засовывая их в рот, пока никто не увидел, и почти физически ощущал, как тепло от хлеба разливается по телу — по пищеводу, по желудку, по рукам — и на минуту ему стало почти хорошо. Почти. А яблоки он приберёт на потом — на вечер, когда снова станет совсем тоскливо.

К вечеру город будто съёжился от холода: фонари горели тускло, их свет тонул в густых сумерках, а редкие прохожие кутались в пальто и спешили мимо, не глядя по сторонам. Серёга знал, куда идти. Он направился к знакомому кафе — тому самому, куда когда-то его привёз дядя Саша, человек в городе уважаемый и большой. Дядя тогда сказал хозяевам: «Если этот мальчишка придёт — кормите. Хоть суп, хоть кусок хлеба, но не прогоняйте». И с тех пор в этом кафе его тихо подкармливали, не задавая лишних вопросов.

Кафе называлось простым, незатейливым именем, которое Серёга давно запомнил, — и не потому, что вывеска была красивой, а потому, что за этой вывеской его ждала тарелка горячего супа, и это было важнее любого названия. Дядя Саша был из тех людей, которые в маленьком городе значат больше, чем чиновники: его знали, уважали, и если он просил — отказывать ему не приходило в голову. Серёга не знал, почему дядя Саша так поступил — из жалости, из памяти о чём-то своём, или просто потому, что был человеком, — но он был благодарен. Не говорил об этом, не выражал словами — просто помнил.

Там он и просидел какое-то время: слушал музыку из ста-

рого проигрывателя, смотрел на усталых, немного потерянных людей, на пьяных мужчин, на девушек, которые смеялись слишком громко, будто пытались заглушить собственную тревогу. И ему становилось особенно горько от того, что он тут лишний, что его подкармливают из жалости, а не потому, что кому-то по-настоящему есть до него дело. В такие минуты ему хотелось просто исчезнуть, раствориться в полумраке зала, чтобы никто не замечал его присутствия. Но он сидел и терпел, потому что другого места у него не было.

Проигрыватель в кафе был старый, с крутящимся диском, на котором стояла потёртая пластинка. Игла скрипела, и музыка шла с шорохом, с потрескиванием, словно пробивалась сквозь толщу времени. Серёга не помнил, что играло — что-то медленное, тягучее, под которое хорошо было сидеть и ни о чём не думать. А вокруг сидели люди, и у каждого была своя история, своя усталость, своя причина пить в кафе в такой вечер. Один мужик, с красным, обветренным лицом, сидел в углу и методично, молча, опрокидывал рюмку за рюмкой, не закусывая, глядя в одну точку. Две женщины средних лет о чём-то шептались, наклонившись друг к другу, и из их разговора долетали обрывки: «долги», «бросил», «некуда идти». Серёга слушал — не потому, что хотел подслушивать, а потому, что в этом шёпоте была жизнь, а у него своей жизни не было.

Когда часы пробили двенадцать, Серёга понял: тянуть больше нельзя. Есть хотелось по-прежнему, а завтрашний

день не обещал ничего хорошего. Он достал из-за пазухи свою верную монтировку — потрёпанную, с облупившейся краской, но надёжную, — и двинулся в сторону гаражного кооператива. Решение было принято: сегодня ночью он пойдёт на дело. И от этого решения внутри всё сжималось не от страха, а от стыда — стыда за то, что другого пути у него просто нет.

Монтировка лежала у него за пазухой, как холодная, тяжёлая, надёжная подруга. Он привык к её весу, к её форме, к тому, как она ложится в ладонь. Это был его единственный инструмент — не для работы, а для дела, которое он не хотел, но должен был делать. Серёга вышел из кафе, и дверь за ним тихо звякнула колокольчиком, будто прощаясь. Он шагнул в ночь, и мороз снова обхватил его, как старый знакомый, от которого никуда не деться.

Глава 2. Гаражный кооператив

Гаражный кооператив стоял на окраине, в стороне от редких фонарей, и в темноте казался чередой серых, угрюмых коробок. Серёга шёл осторожно, прислушиваясь к каждому шороху: к скрипу веток, к далёкому лаю собаки, к собственному неровному дыханию. Он выбрал гараж, который выглядел чуть менее надёжным, чем остальные, — с погнутой дверью и старыми петлями. И в этот момент ему вдруг стало невыносимо жаль самого себя: жаль, что он крадёт по тёмным улицам, как чужой, как вор, хотя всего лишь хочет не остаться голодным.

Кооператив тянулся длинной лентой вдоль заброшенной дороги, которая летом, может, и вела куда-то, а зимой просто терялась в снегу, как нить, обрезанная ножницами. Гаражи стояли рядами — железные, бетонные, кое-где кирпичные, — и каждый был похож на соседнего, как близнецы в очереди на паспорт. Некоторые выглядели крепко: новые замки, свежая краска, ровные крыши — хозяева заботились. Другие покосились, заросли снегом по самую щель, и было ясно, что их не открывали уже давно. Серёга выбрал один из таких — не самый заброшенный, но и не из тех, что защищены, как сейф. Сердце билось ровно, но тяжело, как будто вместе с кровью по венам тек свинец.

Сначала он аккуратно подсовывал под нижний край железной двери тонкие бруски, отгибая металл миллиметр за миллиметром. Работа была тихой, но напряжённой: малейший лязг мог привлечь внимание, и тогда всё пропало бы. Когда щель стала достаточно широкой, чтобы просунуть руку, он начал нащупывать нижние засовы. Пальцы мёрзли, но он не обращал на это внимания — главное было успеть до того, как город начнёт просыпаться. И с каждым движением ему становилось всё тяжелее: он будто чувствовал, как вместе с отогнутым железом гнётся и его собственная жизнь, сворачиваясь в какой-то неправильный, кривой угол.

Бруски он заготовил заранее — наломал их от старой поленицы у барака, где ночевал. Тонкие, ровные, сухие — они подходили как рычаги: вставил, надавил, чуть сдвинул — вы-

нул, переставил дальше. И так, сантиметр за сантиметром, он отгибал нижний край двери, как открывают консервную банку: медленно, мучительно, боясь, что в любой момент металл лязгнет, и тогда — всё. Руки у него были тренированные — не от спорта, а от жизни: он давно привык работать руками, и пальцы у него были крепкие, цепкие, как у человека, который с детства лазал по заборам и деревьям. Но мороз делал своё: пальцы деревенели, плохо слушались, и дважды он едва не выронил брусок, и каждый раз сердце делало лишний удар.

Постепенно ему удалось сдвинуть засов, и дверь чуть приоткрылась. Теперь нужно было расширить проём: он снова подсовывал бруски, осторожно отгибая края, чтобы между створками образовался проход. Наконец, когда щель стала достаточно большой, Серёга протиснулся внутрь боком, стараясь не задеть ничего лишнего и не издать ни звука.

Он втиснулся в гараж, как письмо в щель почтового ящика, — боком, втянув живот, придерживая куртку, чтобы не зацепилась за край и не звякнула чем-нибудь. Несколько секунд он стоял, не двигаясь, привыкая к темноте, к запаху, к новым звукам — или, точнее, к отсутствию звуков. Только его собственное дыхание, тяжёлое, с присвистом, и стук сердца в ушах — так громко, что казалось, его слышно на всю улицу.

Внутри пахло машинным маслом, пылью и старым железом. В тусклом свете уличного фонаря, пробивавшемся

сквозь щели, он быстро огляделся: на полках стояли коробки, на стене висели инструменты, где-то в углу темнел ящик с запчастями. Серёга действовал быстро и чётко: он собирал то, что можно унести сразу и легко продать, — циркулярку, пару рабочих инструментов, электрический насос для машины, небольшую аптечку. Всё это он складывал в узел из старой куртки, стараясь уместить как можно больше, но так, чтобы не потерять в дороге. И при этом в груди всё сильнее разрасталась тихая, горькая обида: ему хотелось, чтобы всё было по-другому, чтобы ему не приходилось красть, чтобы кто-нибудь просто подошёл и сказал: «Держи, тебе нужнее».

Он двигался по гаражу, как по минному полю — осторожно, чётко, быстро. Глаза давно привыкли к темноте, и он уже различал очертания: вот верстак, на нём — тиски, ключи, разложенные по размеру; вон стеллаж, с коробками, в которых, судя по весу, лежали запчасти — тяжёлые, железные, но за них много не выручишь, лучше брать то, что лёгкое и ходовое. Циркулярную пилу он взял первой — она лежала прямо на верстаке, и он сразу понял, что за неё дадут хорошие деньги: вещь нужная, дефицитная, любой мастер возьмёт. Насос — тоже удача: у таксистов постоянно ломаются, а новые стоят дорого. Аптечку он прихватил на всякий случай — мало ли, вдруг найдётся покупатель. Руки работали, а голова была где-то в стороне — будто он наблюдал за собой со стороны, как за персонажем чужой, не своей истории.

Он знал: к трём часам нужно уйти. На севере люди вста-

ют рано: ещё до рассвета они выходят прогревать машины, стучат дверями гаражей, разговаривают между собой. Лишний риск был ни к чему. Собрав добычу, Серёга выбрался наружу, аккуратно прикрыв за собой дверь, и направился в укромное место, где у него был устроен тайник. Там он спрятал узел, отметив про себя, что утром можно будет попробовать сбыть вещи таксистам — те всегда нуждались в инструментах и часто не задавали лишних вопросов. Но даже эта мысль не грела: она лишь подчёркивала, насколько узкой и одинокой стала его дорога.

Тайник у него был устроен в старой водосточной трубе, заледеневшей и отломанной у основания, за сараем, который стоял на пустыре между гаражами и ближайшим домом. Туда он и засунул узел, прикрыв его обломками кирпича и снегом — получилось так, что со стороны ничего не видно. Он постоял минуту, переводя дыхание, посмотрел на небо — низкое, тяжёлое, без единой звезды, как будто небо тоже устало и хотело спать. И пошёл.

Остаток ночи он провёл в подъезде старого дома: сел на бетонные ступеньки, где холод пробирался сквозь одежду, и попытался немного подремать. Пальцы и спина уже ныли от холода, но выбора не было. Он курил подобранные окурки, собирая их по углам подъезда, и думал о том, что завтра будет новый день — и, возможно, чуть менее голодный. Но от этого «чуть» становилось только горше: ведь и это «чуть» приходилось вырывать у жизни силой.

Окурки попадались разные: одни — совсем тонкие, почти без табака, от каких-нибудь дешёвых сигарет, другие — потолще, с привкусом горечи и смолы, от сигарет подороже. Он курил их жадно, затягиваясь глубоко, до кашля, и дым тёк в лёгкие тёплой, горькой струйкой, и на мгновение — только на мгновение — ему становилось легче, будто вместе с дымом выходила какая-то часть тоски. Бетонные ступеньки были ледяные, и холод от них поднимался по спине, как змея, но он сидел, потому что стоять уже не было сил, а лежать на улице было ещё хуже — там, на улице, можно было и не встать.

Сидя в полумраке подъезда, Серёга то дремал, то просыпался от холода, прислушиваясь к редким звукам ночного города: к отдалённому гулу мотора, к шагам где-то вдалеке, к скрипу дверей. Время тянулось медленно, и каждая минута казалась вечностью. Он ждал утра — того момента, когда можно будет выйти из укрытия, забрать вещи из тайника и попытаться что-то выручить за них. Но мысли его всё чаще возвращались не к краже и не к деньгам, а к дому — к месту, где его никто не ждал.

Глава 3. Дом, где никто не ждал

Семья у него была вроде бы и не совсем пропащая: отец — начальник, человек строгий и требовательный, мать — уборщица, вечно уставшая и равнодушная. Но тепла в этом доме не было. Мать никогда его не жалела, не гладила по голове, не спрашивала, как прошёл день. Наоборот, она будто виде-

ла в нём источник всех бед: если что-то ломалось, пропадало или шло не так, виноватым всегда оказывался он, даже если на самом деле виноват был старший брат. Отец же не тратил слов на объяснения — он сразу наказывал, считая, что строгость воспитывает характер. И от этой несправедливости в груди у Серёги всё время стояла тупая, тяжёлая боль, которую он старался не замечать, потому что замечать её было слишком больно.

Отец работал на каком-то предприятии — не маленьком, не последнем в городе, и должность у него была не из последних. Люди его уважали, а может, побаивались — он умел быть жёстким, говорить коротко и весомо, и его слово в спорах ставилось точкой. Дома он был таким же: немногословным, суровым, с лицом, которое редко улыбалось. Когда он приезжал с вахты, в доме всё словно замирало — даже мать становилась тише, даже братья старались не шуметь. Он был как грозовая туча, которая висит над домом и не знаешь — пронесёт или грохнет.

Мать была другая. Она не кричала, не била — она просто была равнодушна. Равнодушие её было ровным, постоянным, как фоновый шум, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать. Она могла накормить, могла одеть — но делала это так, будто выполняла повинность, а не проявляла заботу. Ни одного тёплого слова, ни одного прикосновения, ни разу — «молодец», «хорошо», «я горжусь тобой». Будто Серёга был не её сын, а чужой ребёнок, которого зачем-то

оставили у неё и которого она вынуждена терпеть. И это равнодушнее было хуже, чем злость, хуже, чем крик — потому что с криком хотя бы ясно: тебя видят, тебя замечают. А равнодушие — это как если бы тебя не было.

А старший брат — тот мог сделать что угодно: разбить окно, принести двойку, даже подраться с кем-то — и всё сходило. Мать отмахивалась, отец ворчал для вида, и на этом всё заканчивалось. А если Серёга просто оказывался рядом, когда что-то пошло не так — виноват был он, автоматически, как будто вина была вшита в него с рождения, как ярлык на одежде, который нельзя оторвать.

Из-за этого Серёга начал сбегать из дома очень рано. Первый раз он ушёл, когда ему было всего шесть лет, — тогда он ещё ходил в детский садик. В ту ночь он пришёл в свою группу, лёг на маленький коврик в углу и уснул, прижавшись к холодной стене. Ему казалось, что там, среди знакомых игрушек и шкафчиков, он хотя бы ненадолго почувствует себя в безопасности. Но даже это убежище было лишь временной передышкой, и от этого становилось особенно жалко того маленького мальчика, которым он когда-то был, — мальчика, которому просто хотелось, чтобы его обняли и сказали, что всё будет хорошо.

Шесть лет — возраст, когда другие дети боятся темноты в коридоре и спят с ночником. А Серёга боялся дома. Он помнил тот первый побег смутно, как сквозь воду: помнил, что было темно, помнил, что он шёл босиком по холодному

полу, помнил, что дверь квартиры была не заперта — может, мать забыла, может, просто не обратила внимания. Он вышел на лестницу, спустился, вышел на улицу — и пошёл. Маленький, в одной пижаме, босиком по асфальту, и ему было страшно, но идти домой было страшнее. Он добрался до детского сада — тот был недалеко, через два двора — и каким-то образом нашёл открытую дверь. Лёг на коврик, свернулся, как щенок, и заснул. Утром воспитательница нашла его и, кажется, вызвала мать. Что было потом — он не помнил. Может, и хорошо, что не помнил.

С тех пор побеги стали для него чем-то привычным. Он редко бывал в компаниях, почти ни с кем не сближался: слишком боялся, что и там его не примут, будут винить и отталкивать. Большую часть времени он проводил в одиночестве, изучая город, находя укромные уголки, где можно спрятаться и перевести дух. Жизнь его была совсем не сладкой — скорее горькой, с привкусом холода, сырости и чужой несправедливости. И всё, что он умел, — это выживать. Но в глубине души он всё ещё хранил тихое, почти стыдное сожаление о том, что выживать приходится именно так — в темноте, в холоде, в одиночестве, когда рядом нет никого, кто просто протянул бы руку и помог поднять.

Он знал каждый двор, каждый закоулок, каждый подвал, каждый чердак — весь город был для него картой убежищ. Он знал, в каком подъезде не закрывается дверь на ночь, в каком подвале сухо и нет сквозняка, на каком чердаке есть

старые матрасы, брошенные кем-то из жильцов. Он знал, в каком магазине продавщица не смотрит по сторонам, а в каком — бдительная, и туда лучше не заходить. Он знал город, как знает его только тот, для кого город — не место жительства, а поле боя, где каждый день нужно выживать. И при этом ему не было ещё и тринадцати.

Глава 4. Задержание и побег по верёвке

Ну вот, наконец-то наступило утро. Серёга встал, потянулся, приблизительно прикинул, чем сейчас займётся, пока ещё не пошёл на встречу со своими таксистами, кому он собирался продать добытое за ночь. Вышел из подъезда, а вокруг уже шла обычная жизнь: люди спешили по делам, дети шли в школу, громко смеялись, спорили, толкались, будто весь мир был устроен так, что им в нём было легко и просто. Сергей периодически даже завидовал детям, у которых нормальные семьи, которых любят родители, которые не в тягости для своей семьи. Ему хотелось просто побыть среди них, почувствовать, что и он кому-то нужен. Но он понимал, что это невозможно: он уже слишком далеко ушёл по своей дороге, чтобы просто вернуться и стать «обычным».

Утро было морозное, ясное — после ночной низости небо наконец-то прояснилось, и солнце, низкое и тусклое, как настольная лампа с почти севшей батареей, едва поднималось над крышами. Снег хрустел под ногами, скрипел, как новый кожаный ремень, и этот звук был таким обычным, таким будничным, что Серёга на секунду забыл, где он и что

он тут делает. Но только на секунду. Дети шли в школу — с рюкзаками, с портфелями, с мамами, которые провожали их до угла и кричали вслед: «Шарф надень!» — и от этого крика у Серёги что-то сжалось внутри, потому что ему никто никогда не кричал вслед: ни «шарф надень», ни «будь осторожен», ни «я тебя люблю». Никто. Он шёл мимо, и его не замечали, как фонарный столб, как урну, как часть уличного пейзажа.

Время уже было около десяти. Сергей пошёл к своему схрону, откопал вещи из схрона, взял и пошёл в назначенное место. На назначенном месте, как удачно, у него стояли таксисты, которые не задавали лишних вопросов. Он удачно всё продал. Без всяких лишних вопросов. Значит, сегодня он не будет голодать. У него будет что поесть. Эта мысль грела, но совсем чуть-чуть, как слабый огонёк в большой холодной комнате: он давал немного света и тепла, но не мог согреть всё пространство вокруг.

Таксисты стояли на обычном месте — у обочины, возле ларька, где продавали сигареты и газировку. Два мужика, немолодых, с обветренными лицами и руками в масле, курили и о чём-то негромко переговаривались. Серёга подошёл, показал узел. Один из таксистов — тот, что постарше, с бородой, прокуренными усами и глазами, которые смотрели устало, но по-доброму — поковырялся в вещах, повертел циркулярку, подёргал насос. Кивнул. Достал деньги — не много, но достаточно: на хлеб, на молоко, на пачку сигарет, и

ещё останется. Серёга взял деньги, сунул в карман, кивнул в ответ и пошёл. Никаких разговоров, никаких «откуда взял», никаких взглядов. Таксисты знали его — не по имени, а по делу: приходил, приносил, получал. И всё. И от этой деловой, безразличной простоты Серёге было одновременно легче и тяжелее: легче — потому что не надо врать, тяжелее — потому что никому не было дела до того, почему тринадцатилетний мальчишка торгует краденными инструментами.

Да, Сергей очень рано начал курить. Но это уже только для того, чтобы подражать, чтобы казаться взрослым, самостоятельным. Не то чтобы ему прям так нравилось это занятие — курить. Но ему приходилось очень рано взрослеть. Он пошёл на рынок, чтобы купить что-нибудь перекусить с утра. И на его невезение ему по дороге попалась мать, которая схватила его за руку и потянула домой. Это не от того, что она его любила. Вот она силой еле как довела его до дома. Отправила помыться. Сергей помылся. Единственная была радость, что не было дома отца, потому что Сергей понимал, что если дома был бы отец, отец его сильно избил бы. Всё, Сергей прошёл в комнату, где мать его закрыла на щеколду. Двери всегда закрывались на все ключи, чтобы Сергей никак не убежал. И вот так он жил один в комнате. Братьев к нему не пускали. Братья жили в другой своей комнате. Телевизор он не смотрел. Периодически мать ему давала поесть. Вот так он прожил несколько дней в мыслях о том, что скоро приедет папа. И от этих мыслей ему становилось только

хуже. Он знал, чем всё закончится.

Куриль он начал, наверное, лет в девять или десять — сначала стрелял окурки у подъезда, потом, когда появились кое-какие деньги, покупал самые дешёвые сигареты, без фильтра, горькие, как полынь. Курить ему не нравилось — не было в этом ни удовольствия, ни наслаждения. Но сигарета в руке делала его чуть старше, чуть солиднее, и мальчишки на улице смотрели на него уже не как на мелкого, а как на равного. Он курил, кашлял, и кашель был его платой за иллюзию взрослости — платой, которую он платил охотно, потому что настоящей взрослости ему хотелось больше всего на свете. Настоящей — не той, которая в сигарете, а той, когда можно самому решать, куда идти, что есть, с кем говорить. Но до этой взрослости было ещё далеко.

А мать... Она схватила его прямо на улице, у рынка, — он даже не успел сообразить, что происходит. Её рука была жёсткая, сухая, сильная — рука женщины, которая всю жизнь работала физически, мыла полы, таскала вёдра, и от этой работы её руки стали крепкими, как верёвки. Она не сказала ни слова — просто потащила, как волокут непослушного телёнка на привязь. Серёга не сопротивлялся — не потому, что согласился, а потому, что сопротивляться было бесполезно: она была сильнее, и, главное, она была мать, а мать может всё. Даже то, чего не должна бы.

Комната, куда его заперли, была маленькая — метров десять, с окном, выходящим на четвёртый этаж, с кроватью,

столом и шкафом. Он знал здесь каждый угол: трещина на стене, похожая на молнию; пятно на потолке от протечки; царапина на двери, которую он когда-то, давно, в детстве, оставил гвоздём. Это была его камера. Он жил здесь, спал здесь, ел здесь — один. Братьев к нему не пускали, и он к ним не просился. Он просто лежал на кровати, смотрел в потолок и считал дни. Дни тянулись, одинаковые, серые, как лагерные нары. Мать приносила еду — молча, ставила тарелку на стол, уходила, закрывала щеколду. Никаких разговоров, никаких вопросов, никакого «как ты». Только тарелка и звук закрывающейся двери. И от этой тишины хотелось выть.

И вот наступил тот день, день приезда отца. Ключи в замке зашевелились. Сергей понял, это приехал отец. Делать что-то надо было срочно. Отец посмотрел на него, ничего ему не сказал. Не прошёл в зал. Мама ему накрыла чай с бутербродами, чтобы он перекусил с дороги. Так он приехал с вахты. А Сергей был в комнате и думал, когда всё начнётся, экзекуция. Ну да, он не стал долго думать. Взял, оделся, взял бельевую верёвку. Он не понимал, что хватит её до первого этажа, не хватит. Сергей жил на четвёртом этаже. Привязал в бельевую верёвку один конец к батарее, другой выкинул через форточку в окно. И вылез в форточку наружу из квартиры, руками держась за бельевую верёвку.

Он услышал ключи — этот звук он знал наизусть, как знаешь звук будильника, от которого просыпаешься с сердцем в горле. Ключ провернулся, щёлкнул замок, и Серёга понял:

приехал. Он замер, как заяц, услышавший лай собак. Сердце заколотилось так, что он чувствовал его в горле, в висках, в кончиках пальцев. Отец прошёл в коридор — Серёга слышал его шаги, тяжёлые, размеренные, как удары маятника. Потом — голос матери, тихий, быстрый, что-то про чай, про дорогу. Потом — тишина. И в этой тишине Серёга понял: сейчас или никогда. Он не будет ждать, пока отец закончит пить чай, встанет,йдёт в комнату и... Он не будет ждать. Он перехватил взглядом бельевую верёвку — она лежала в шкафу, свернувшись кольцами, как змея. Вытащил, намотал на руку. Открыл форточку — та поддалась со скрипом, и Серёга замер, прислушиваясь: не услышал ли отец? Нет, вроде не услышал. Он привязал один конец к батарее — узел был кривой, но крепкий, он умел вязать узлы, научился давно, по жизни. Другой конец выбросил в форточку — верёвка сплеснулась вниз, как хвост, и закачалась в воздухе. Серёга посмотрел вниз — четыре этажа, земля далеко, как дно колодца. Но внизу — свобода. А сзади — дверь, за которой отец допивает чай, и после этого...

И Сергей решил съехать по этой бельевой верёвке. До такой степени у него был страх перед отцом, как отец его может избить, что ему не было другого выхода. Он посчитал, что лучше так. Он съехал по бельевой верёвке, держась руками до третьего этажа. Но он тогда не понимал, что от этого будет ожог. На третьем этаже, стоя на парапете соседского окна, он решил взглянуть на руки, потому что у него ужасно кипели

руки от того, что они обгорели. И отпустил верёвку. И он не успел даже подумать, что он сейчас упадёт. Он уже упал и ногами приземлился в заливку дома, вокруг дома. Сломал две ноги, он не остался у дома кричать и звать кого-то на помощь. Он встал на коленки, на руки и пополз через один микрорайон к своему другу, однокласснику. Он приполз туда, и когда постучал в дверь, открыла мать одноклассника. Только тогда Сергей потерял уже сознание. Видимо, тогда его мать друга отправила по скорой помощи в больницу.

Верёвка обожгла ладони мгновенно — больно стало не сразу, а через несколько секунд, когда кожа уже начала пузыриться, и тогда боль ударила, как кипятком, как раскалённое железо, — такая, что он чуть не закричал. Но не закричал — зубы стиснул и ехал вниз, сантиметр за сантиметром, и руки скользили по верёвке, и кожа слезала, как перчатка с руки, и он чувствовал это, и всё равно не отпускал, потому что внизу — земля, а наверху — отец. На третьем этаже он остановился, встал ногами на парапет соседского окна — руки горели так, что он больше не мог держаться, и он отпустил верёвку, чтобы посмотреть на ладони. И в эту секунду — полёт. Короткий, мгновенный, без мыслей, без страха — просто земля рванулась навстречу, и удар пришёлся в ноги, в обе ноги сразу, и боль была такой, что мир почернел, провалился, как экран телевизора, из которого выдернули шнур. Он лежал в снегу, в заливке вокруг дома, и ноги не слушались — не двигались, не сгибались, просто лежали, как чужие, как два

бревна, приставленных к телу. Но он не закричал. Он не позвал на помощь. Он встал на колени — и боль рванула снова, но он стерпел, стиснул зубы так, что они заскрипели, — и пополз. Через двор, через дорогу, через другой двор, через микрорайон — полз, как раненый зверь, оставляя на снегу след из проталин и крови из ободранных ладоней. До дома друга было далеко — может, километр, может, полтора — он не помнил. Помнил только снег, боль, и ещё — что было стыдно, что кто-нибудь увидит его таким. Он приполз, постучал в дверь — чем? кулаком? ладонью? он не помнил — и когда дверь открылась, и на пороге стояла женщина, мать его одноклассника, и смотрела на него сверху вниз с ужасом и жалостью, — только тогда он отключился. Просто выключился, как выключают свет.

Как потом уже рассказывал отец, когда он сидел, пил чай, зазвенел телефон. Он взял трубку, и ему говорят: «Здравствуйте, то есть приёмный покой вас беспокоит, что приезжайте, забирайте своего сына Хударева Сергея, так как у него переломанные ноги, перевязанные руки». Отец понял, положил трубку матери, говорит: «А где Сергей?» Мать говорит: «Да в комнате, наверное, ждёт. Боится». Отец говорит: «Да нет, он уже в приёмном покое. С переломанными ногами и руками. Надо ехать его забирать».

Отец рассказывал это потом — может, не Серёге, может, кому-то из близких, а Серёга узнал из чужих уст, пересказанное, как легенда. Отец сидел за столом, пил чай с бутер-

блюдами, которые ему накрыла мать, — чай был горячий, с лимоном, бутерброды с колбасой, всё как всегда, — и когда зазвонил телефон, он снял трубку, не подозревая ничего. Голос из трубки был ровный, казённый: «Приёмный покой больницы такой-то. Просьба приехать. Ваш сын, Хударев Сергей, доставлен с переломами обеих ног, ожогами ладоней». И отец — по его рассказу — замер. Поставил чашку. Посмотрел на мать. И спросил: «А где Сергей?» — как будто ничего не понял, как будто слова не сразу дошли. Мать ответила спокойно — слишком спокойно, как показалось Серёге, когда он потом об этом думал: «Да в комнате, наверное, ждёт. Боится». И тогда отец сказал: «Да нет, он уже в приёмном покое. С переломанными ногами и руками. Надо ехать его забирать». И встал, и пошёл к двери, и ни слова больше — ни «как это», ни «почему», ни «где он был». Просто встал и пошёл.

Отец приехал в приёмный покой, забрал, увёз на такси домой. Я избежал экзекуции и спокойно жил какое-то время дома. Но время это было тоже недолгое.

Такси ехало медленно, дороги были скользкие, и Серёга лежал на заднем сиденье, закутанный в какое-то одеяло, которое ему дали в больнице, с гипсом на обеих ногах и бинтами на ладонях. Отец сидел впереди, молчал, курил, опустив стекло, и дым уносило в морозный воздух. Ни одного слова за всю дорогу — ни «зачем», ни «как ты», ни «что ты наделал». Молчание. И в этом молчании было всё: и злость,

и растерянность, и что-то ещё, чего Серёга не мог разобрать, потому что не знал своего отца достаточно хорошо, чтобы читать его молчание. Может, отец не знал, что сказать. Может, боялся, что если откроет рот — скажет что-то не то. А может, ему было всё равно. Серёга не знал. Он лежал, смотрел в потолок такси, и думал: я избежал. На этот раз — избежал. Но надолго ли?

Глава 5. Дорога в никуда

Так его и звали в доме: «починить», «найти», «сбегать». Не по имени, не как сына, а как функцию, которую можно включить и выключить. Он не хотел уезжать, но другого выхода не было. Каждый раз, когда он пытался остаться, дом будто выталкивал его, как вода выталкивает щепку, которая мешает течению. И в этом отталкивании было что-то механическое, равнодушное: не злоба даже, а отсутствие места, где бы он мог просто быть.

Имя у него было, конечно. Сергей. Мать с отцом произносили его редко — только когда нужно было позвать для дела, поручить что-то, прикрикнуть. В остальное время обходились безымянными командами: «поди сюда», «принеси», «убери», «выйди». Как будто он был не человек, а что-то среднее между домашним животным и инструментом: когда нужен — зовут, когда не нужен — забывают в углу. И он привыкал. Привыкал откликаться на оклик, приходить, делать, уходить. Привыкал, что его имя — это что-то лишнее, что-то, что висит в воздухе без адресата, как письмо, кото-

рое некому прочитывать.

Решение уйти созрело не сразу. Оно копилось, как вода за плотиной: понемногу, из дня в день, из обиды в обиду, из равнодушия в равнодушие. Он и сам не помнил, когда именно понял: надо. Может, после того, как отец в очередной раз поднял руку, а мать отвернулась к окну, будто ничего не происходит. Может, после того, как просидел запертый в комнате несколько дней и понял, что если останется здесь ещё хоть на день — задохнётся. А может, просто в какое-то утро проснулся, посмотрел на потолок с его трещиной-молнией, и понял: всё. Пора.

Вскоре «Икарус» довёз пассажиров до переправы из Стрижевого в Нижневартовск — дальше он не ходил. Серёга вышел первым, будто боялся, что если задержится хоть на минуту, то кто-то окликнет, спросит, куда он, зачем, один ли он. А он не хотел отвечать. Не потому что лгал, а потому что правда была слишком тяжёлой, чтобы произносить её вслух.

«Икарус» был старый, жёлтый, с потрескавшимися стёклами и сиденьями, обтянутыми чем-то, что когда-то было кожзаменителем, а теперь стало просто рваной тканью, набитой жёлтым поролоном. В салоне пахло бензином, потом и застарелой пылью. Серёга сидел у окна и смотрел, как за стеклом проплывает зимний пейзаж: однообразный, серый, лишь изредка оживляемый столбами да редкими домами. Дорога шла через лес, и деревья стояли по обе стороны, как молчаливая стража, — голые, чёрные, покрытые инеем. Он

не думал ни о чём конкретном — просто смотрел и старался не думать о том, что оставляет позади. Потому что оставлять было нечего.

На переправе через речку Вахту никто не задавал вопросов — тут привыкли к молчаливым людям, к тем, кто спешит, к тем, у кого в глазах застыл вопрос, который они не решаются задать вслух. Было холодно. Лёгкая изморозь висела в воздухе, оседала на куртке мелкими кристаллами, и казалось, что сама весна ещё не решила, приходить ей или нет. Она стояла где-то на краю горизонта, робкая, неуверенная, и только по едва заметному смягчению ветра можно было догадаться, что зима потихоньку сдаёт позиции. Но даже это смягчение не несло тепла — скорее, оно было похоже на осторожное, почти виноватое отступление, после которого холод всё равно вернётся.

Переправа была простая: паром, ходивший туда-сюда через широкую, тёмную, неприветливую реку. Вода в ней была цвета крепкого чая — торфяная, северная, и даже в оттепель она выглядела так, будто в ней нет ни капли тепла. Серёга стоял на пароме, втиснувшись среди машин и людей, и ветер с реки бил ему в лицо, забирался под куртку, и он снова ёжился, снова кутался, снова думал: когда же это кончится? Когда хоть раз станет тепло не на пять минут, а по-настоящему, надолго?

Он зашёл в придорожное кафе — маленькое, с облупившейся вывеской и пластиковым столиком у окна, где стек-

ло было заклеено скотчем в нескольких местах. Взял стаканчик «три в одном», сладкий, почти приторный, и медленно пил, чувствуя, как тепло понемногу растекается внутри, но не доходит до самых дальних, самых замёрзших уголков. Он поглядывал на водителей, которые заходили погреться, выпить кофе, перекинуться парой слов с хозяйкой. В голове у него уже сложилась аккуратная, выверенная история: будто приезжал к родителям на работу, не застал их и теперь возвращался в город. Он повторял её про себя, как молитву, чтобы не сбиться, не запнуться, не выдать голосом ту самую дрожь, которая появлялась всякий раз, когда приходилось врать. Но подходящего случая не выпадало: одни спешили, другие смотрели сквозь него, третьи сразу уходили, не задерживаясь. В этом равнодушии была своя жестокость, но и своя защита: никто не спрашивал лишнего, никто не пытался заглянуть глубже.

Хозяйка кафе была женщина немолодая, полная, с добрыми, усталыми глазами. Она посмотрела на Серёгу — мельком, без интереса — и отвернулась к стойке. Может, видела таких, как он, каждый день: худых, замёрзших, с глазами, которые смотрят куда-то мимо тебя, и с руками, которые всё время что-то теребят — край куртки, стаканчик, ремень. Может, ей было всё равно. А может, она просто знала, что спрашивать бесполезно: всё равно не ответит. Или ответит — но тем, что хочется услышать, а не тем, что есть на самом деле.

Допив кофе, он вышел на трассу. Уже смеркалось. Ночь подступала осторожно, как хищник, который сначала пробует воздух, прежде чем сделать шаг. Машины проезжали редко, их фары на мгновение выхватывали из темноты его фигуру, а потом снова оставляли в темноте, будто и не было его вовсе. Он шёл по обочине, чувствуя, как холод забирается под куртку, как стынут пальцы, и время от времени пытался остановить попутку, вытягивая руку, стараясь выглядеть не отчаявшимся, а просто обычным парнем, которому нужно доехать.

По дороге он думал о том, что когда-нибудь всё обязательно будет хорошо. Когда-нибудь он перестанет скитаться по чердакам и подъездам, прятаться от консержек, собирать газеты, чтобы хоть немного защититься от сырости. Когда-нибудь у него будет комната — может, маленькая, может, не очень тёплая, но своя, с дверью, которую он сам будет открывать и закрывать, и никто не запрёт его снаружи. На стене будет висеть полка, на полке — книги или что-нибудь ещё, что он выберет сам, потому что захочет, а не потому что ему дадут. И он будет ложиться спать, и засыпать, и знать, что завтрашний день — его, и никто не решит за него, как его прожить. Эта картинка вставала перед глазами яркая, живая, почти осязаемая — и каждый раз, когда он к ней возвращался, ему становилось одновременно легче и тяжелее: легче — потому что была надежда, тяжелее — потому что надежда была далеко, а он стоял на обочине тёмной

трассы, с окоченевшими руками и пустым желудком.

Он был добрым человеком — по-своему, тихо, без лишних слов. Но временами в нём поднималась горькая обида на других, на тех, у кого всё складывалось удачно, кто не знал, каково это — быть лишним в собственном доме. Тех, у кого мать спрашивает «как дела» и ждёт ответа, у кого отец учит ездить на велосипеде и не бьёт за разбитое колено, у кого дома пахнет едой, а не равнодушием. Эта обида была тихая, неядовитая — он не желал никому зла, просто не понимал: почему им — а не мне? Чем я хуже? Что я сделал не так? И не находил ответа, потому что ответа не было: ему было шесть лет, когда всё началось, и он точно не мог быть виноват в том, что его не любили.

Казалось, будто Господь ему ничего хорошего не отмерил: ни ласки, ни простого добра, ни даже той самой тихой уверенности, что тебя ждут. Хотя попадались и хорошие люди: иногда кто-то пускал его переночевать, давал кусок хлеба, тёплый плед, говорил пару добрых слов. Но утром всё равно решали, что лучше сдать его в милицию, чтобы там что-нибудь решали. А милиция лишь отправляла его обратно домой, к родителям, которые при сотрудниках держались прилично, всё выглядело нормально, спокойно, достойно. Но стоило двери закрыться и милиции уйти, как маска спадала, и воздух снова становился тяжёлым, будто сам дом выдыхал напряжение, которое копилось всё это время.

Это было худшее — не побои, не крик, а вот это: пред-

ставление. Спектакль, в котором его семья играла роль нормальной, а он — роль ребёнка, которому просто не повезло с характером. Милиционеры смотрели сочувственно, говорили матери: «Ну, мамочка, поговорите с сыном, ему внимание нужно», — и мать кивала, улыбалась кривой, дежурной улыбкой, говорила: «Конечно, обязательно». А отец стоял в коридоре, сложив руки на груди, и молчал, и в глазах у него было не беспокойство, а расчёт: ждёт, когда уйдут, чтобы заняться «воспитанием». И Серёга это знал, стоял рядом с матерью, кивал, говорил «да, я понял», «да, я больше не буду», и всё это время считал минуты до того момента, когда дверь закроется и маска спадёт. И дверь закрывалась. И маска спадала. Каждый раз — один и тот же сценарий, как заезженная пластинка.

Глава 6. Тайга и посёлок Кательга

Вместо иллюстрация стоят пустые блоки. И не надо вставлять иллюстрации в середине фраз. К полуночи он прошёл уже километров пять. Вокруг скрипели деревья, тайга жила своей ночной жизнью: где-то шуршало, где-то трещало, будто лес перешёптывался сам с собой. Он не боялся леса — с детства привык к нему, все летние каникулы проводил в тайге, собирал грибы и ягоды, знал, где растёт земляника, где прячутся белые, как пахнет мокрая хвоя после дождя. Лес он понимал и не боялся.

Ночь в тайге — это не тишина, как думают те, кто никогда там не был. Это симфония из тысячи звуков, каждый из

которых имеет своё значение, свой источник, свой вес. Вот хрустнула ветка под чьей-то лапой — может, заяц, может, лиса, может, просто снег сполз с ветки. Вот прокричала птица — коротко, резко, будто кто-то провёл ногтем по стеклу. Где-то вдалеке ухнул филин, и его голос был низкий, тягучий, как нота на виолончели. Серёга шёл и слушал, и каждый звук был ему знаком — не по книгам, а по телу, по памяти, по тому, как тело реагирует на лес: спокойно, ровно, без страха. Лес не предаст. Лес не обманет. Лес просто есть, и в этом его честность.

А на самом деле, зачем Сергею бояться леса? На ум сразу приходит одна история — та, что будто врезалась в память намертво, как зарубка на дереве, которую не стереть ни дождём, ни ветром.

Мы каждое лето проводили на вахтовом посёлке у отца на работе. Посёлок назывался Кательга. Там всё было другим: воздух гуще, небо выше, а тишина — не пустая, а будто наполненная тысячами звуков, которых в городе не услышишь. В тех местах лето было щедрым, но коротким, и потому каждый солнечный день ценили. Мы запасались на зиму грибами и ягодами, собирали всё, что успевало созреть, будто хотели удержать лето в банках и мешочках, чтобы зимой вспоминать этот запах.

Кательга — название странное, не русское, с каким-то мягким, тягучим звуком, будто слово долго катилось по языку, прежде чем остановилось. Посёлок был маленький:

несколько барakov, цех, столовая, магазин — всё, что нужно для жизни, и ничего лишнего. Вокруг — тайга, уходящая во все стороны, бескрайняя, густая, и в ней — грибы, ягоды, ручьи с прозрачной, холодной водой, и мох, мягкий, как ковер, по которому можно идти босиком. Для мальчишки это был рай — лучше любого города, лучше любого двора. Здесь можно было бегать, кричать, лазить по деревьям, и никто не говорил «прекрати», «не лезь», «отойди». Здесь лес был большим, а человек — маленьким, и в этой разнице размеров было что-то успокаивающее: ты не важен, тебя не замечают, но и не трогают. Лес не оценивал. Лесу было всё равно, хороший ты или плохой, отличник или двоечник, любимый сын или лишний. Лес принимал всех.

В один из таких дней Сергей пошёл за шиповником. Надо было пройти через лес — не глухой и страшный, а знакомый до каждой тропинки, но всё равно чужой, если остаться с ним один на один. Сергей взял старое оцинкованное ведро, которое уже успело покрыться лёгкой ржавчиной по краям, и отправился в путь. Солнце стояло в зените, припекало так, что даже тени казались прохладным подарком. Он дошёл до места, где кусты шиповника росли густо, будто нарочно сбились в кучу, чтобы защитить свои ярко-красные ягоды.

Дорога до шиповника шла через березняк — светлый, чистый, с мягкой травой под ногами и папоротником по обочинам. Серёга шёл и смотрел по сторонам: вот муравейник — большой, пышный, суетливый, муравьи бегают по нему, как

люди по рынку в базарный день. Вот болото — маленькое, прозрачное, с торчащими из воды корягами, и у него свой запах, кисловатый, болотный, и своя жизнь: стрекозы, лягушки, какие-то невидимые твари, которые булькают в тине. Вот пенёк — старый, мшистый, на нём грибы: один — моховик, другой — подберёзовик, и Серёга отметил про себя: на обратном пути взять. Но сейчас — шиповник, ведро, дело.

Шиповник был налиivistый, тяжёлый от сока, такой, что казалось — тронь, и он сам упадёт в ладонь. Сергей сорвал несколько ягод, положил в рот, и они обожгли язык кислой сладостью. Он поел немного, не стал торопиться собирать: впереди ещё был целый день, успеется. Да и сидеть в тени, слушать, как жужжат пчёлы, как где-то вдалеке стучит дятел, было куда приятнее, чем гнаться за ведром, полным ягод. Солнышко разогрело, разморило, и его незаметно накрыла дремота.

Трава под берёзой была мягкая, и мох — мягкий, и ствол берёзы — тёплый, шершавый, и Серёга прислонился к нему, и веки стали тяжёлыми, и звуки леса начали отдаляться, как будто кто-то медленно прикручивал громкость. Последнее, что он услышал, — жужжание пчелы где-то совсем рядом, над ухом, и тогда он провалился в сон. Спал он так, как спят только дети в лесу — глубоко, без снов, без тревоги, и тело его расслабилось, свернувшись в клубок, и дыхание стало ровным, тихим, и лес, будто заметив, что ребёнок уснул, чуть притих вокруг него, будто оберегал.

Он задремал прямо там, рядом с кустами шиповника, уткнувшись плечом в шершавый ствол старой берёзы. А когда проснулся, мир уже изменился: небо стало гуще, цвета потемнели, и воздух наполнился тем особенным вечерним холодом, который приходит даже в самое жаркое лето. Смеркалось. День будто выдохнул и начал медленно угасать. Сергей понял: уже поздно. Вечер наступил незаметно, как это бывает летом, когда темнота не обрушивается сразу, а подкрадывается шаг за шагом.

Ему стало страшно. Не столько от темноты, сколько от того, что он не выполнил то, что должен был. Ведро осталось почти пустым, а дома его ждали не объятия и не похвала, а привычное недовольство, резкие слова, а то и оплеуха — как напоминание, что он опять что-то сделал не так. Он боялся идти домой, боялся услышать то, что уже знал наизусть. Каждое слово, каждый упрёк он заранее слышал в голове, как будто прокручивал их снова и снова, и от этого страх становился только сильнее. Страх перед тем, что ждёт дома, был сильнее страха перед тайгой — и это, если подумать, самое горькое в его истории.

И тогда он принял решение, которое казалось ему самым разумным: подойти поближе к цеху, где отец был начальником. Там, рядом с этим зданием, они с братьями целыми днями крутились, изучая каждый угол, каждую доску, каждый ржавый гвоздь. А вечером уходили в общагу ночевать.

Сергей подобрался поближе и из леса стал наблюдать за

цехом. Он прятался за деревьями, стараясь слиться с сумерками, и смотрел, что там творится. В его голове крутилась одна мысль: ищут его или нет? Может, отец уже вышел, оглядывает двор, зовёт по имени... Но вокруг стояла полная тишина. Ни криков, ни беготни, ни голосов — ничего. Только ветер шевелил верхушки деревьев, да где-то далеко прокричала птица.

Ребёнку было лет шесть, может, семь. Серёжа был совсем маленьким, щуплым, будто ветер мог унести его, если бы он стоял на месте слишком долго. И вот он стоял, сжавшись, и смотрел на пустой двор, и в груди у него разрастался тяжёлый холод: никто его не искал. Никто не волновался. Для взрослых он будто растворился в этом лесу, стал невидимым. А он сам боялся выйти из укрытия, потому что знал: если его заметят, будет хуже, чем если его вообще не заметят. Он привык к этой странной арифметике: лучше быть незамеченным, чем замеченным и наказанным.

Время шло, и темнота становилась всё плотнее. Сергей всё смотрел и смотрел за цехом, будто надеялся увидеть хоть какой-то знак, что он кому-то нужен. Наконец, из цеха вышли братья, а следом появился отец. Он спокойно закрыл двери, проверил замок, будто завершал обычный день, в котором не было ничего необычного — ни пропавшего сына, ни тревоги, ни поисков. Сергей ещё глубже спрятался в лесу, чтобы его не заметили. Он видел, как отец пошёл по привычной дороге, той самой, по которой они всегда ходили в

общагу.

Тогда Сергей перебрался поближе к общаге и снова стал наблюдать. Отец с братьями спокойно ушли внутрь и, как он понял, легли спать. И тут до него окончательно дошло: никто не переживал, что маленький ребёнок остался в тайге. Не в глубокой, не в непроходимой, но всё равно в лесу, где ночью просыпаются другие звуки, где тени становятся длиннее, а каждый шорох кажется чьим-то дыханием. И пусть он был рядом с цехом, пусть до людей было рукой подать — он всё равно был один.

Это были первые уроки жизни, самые горькие и самые прочные. Они врезались в память не словами, а ощущениями: холодом в груди, тяжестью в горле, тишиной, которая звучала громче крика. Сергей тогда впервые понял, что он неинтересен, что он никому не нужен. И с тех пор этот вопрос не оставлял его ни на день: для чего Господь призвал его на этот свет, если никто не замечает, когда он исчезает?

Глава 7. Рождение в вертолёте

Мать когда-то рассказывала ему, как проходили роды, будто пыталась найти в этом начале хоть какую-то ниточку, связывающую его с миром. Тогда они жили не в городе: квартир ещё не было, мать ютилась в вагончике, отец — в общаге. Мать приехала туда со своим предыдущим мужем из Соликамска, но тот загулял и бросил её. Потом она встретила отца Сергея, и в итоге всё сложилось так, как сложилось. Когда начались схватки, она была в вагончике — месте, где даже

зимой казалось, что стены не держат тепло, а выпускают его наружу. Её срочно повезли к посадочной полосе, где ждал вертолёт: по-другому быстро до города не добраться. Пока ехали, пока грузились, пока вертолёт взмывал в небо, время будто сжалось в одну короткую вспышку. И в этой вспышке, прямо во время полёта, Сергей и появился на свет. Спокойно, без осложнений, с нормальным весом. Он будто хотел жить — и потому поспешил, будто боялся опоздать.

Мать рассказывала это редко и неохотно — может, потому что вспоминать было тяжело, а может, потому что в этом рассказе не было места для нежности, и она это чувствовала. Вагончик — это железная коробка, продуваемая ветрами, летом раскалённая, как печка, зимой ледяная, как могила. В нём ничего не было, кроме койки, стола и печки-буржуйки, которую топили тем, что находили: дровами, щепками, а то и просто мусором. В таком месте человек не живёт — он перебивается, ждёт, когда станет лучше. И вот в этом месте, в этих условиях, мать носила его, и роды начались, и некуда было деться, и ждали вертолёт, и вертолёт пришёл, и в небе, между землёй и городом, Сергей родился. Он родился в полёте — и, может быть, с тех пор так и не приземлился.

Но жизнь оказалась не такой гостеприимной, как он надеялся. Сергей всю жизнь ложился спать с одним и тем же вопросом: для чего он на этом свете? Он не был глупцом. Он занимался в секциях и брал первые места, старался быть лучше, быстрее, сильнее, будто надеялся, что однажды его

замечают. Но похвалы не было. Его успехи просто не замечали, будто они происходили не с ним, а с кем-то другим, кого никто не знал. А Сергею и самому становилось неинтересно стараться, если старания исчезали в тишине.

Он ходил в секции — разные, какие были в маленьком северном городке. Бегал — и побеждал, причём не потому что был самым быстрым от природы, а потому что бежал так, будто от этого зависела его жизнь. Тренер говорил: «У тебя характер, парень. Из тебя может что-то получиться». Но дома об этом не знали — или знали, но не спрашивали. Грамоты он прятал в шкаф, подальше от чужих глаз, потому что показывать их было некому, а если и покажешь — reaction будет пустой, равнодушный, и от этого грамота станет не радостью, а ещё одним напоминанием о том, что его не видят.

Особенно больно было с моделированием. Это увлечение стало для него чем-то большим, чем просто кружок: в нём он находил порядок, точность, возможность создать что-то своими руками, что будет держаться, не развалится от первого порыва ветра. Моделирование было его убежищем — единственным местом, где всё подчинялось правилам, где от аккуратности и терпения зависел результат, и где результат был осязаем, видим, красив. В мире, где всё вокруг рушилось — семья, детство, вера в людей, — маленькая модель корабля или самолёта, собранная своими руками, была островком порядка и смысла.

Он выиграл городской конкурс по моделированию, и ему

подарили большую коробку — в ней лежала разобранный белоснежный яхт. Она казалась ему чудом: изящные детали, тонкие линии, обещание движения по воде. Он мечтал собрать её вместе с отцом, запустить на воде — пусть даже в ванной. Ему не нужно было многого: просто чтобы отец нашёл хоть несколько минут, помог развести бокситный клей, показал, как добиться правильной консистенции. В кружке этому не учили, и Сергей боялся испортить детали, боялся, что всё пойдёт не так, если он сделает что-то неправильно.

Коробка стояла на шкафу, и Серёга каждый день, возвращаясь из школы, бросал на неё взгляд — как бросают взгляд на окно, за которым может что-то случиться. Он подходил, трогал крышку, приподнимал её — и закрывал обратно. Внутри лежали детали: корпус, мачта, паруса, тонкие, как бумага, и все они были белые, новые, нетронутые, и от них пахло фабрикой, клеем и чем-то далёким, чужим, обещающим. Он ждал. Каждый день — ждал. Прислушивался к шагам в коридоре: может, сегодня? Может, отец пройдёт мимо, остановится, посмотрит на коробку и скажет: «А ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас»? Но отец проходил мимо — всегда мимо.

Он ждал отца, прислушивался к шагам в коридоре, надеялся, что сегодня тот наконец остановится, сядет рядом, возьмёт в руки инструкцию и скажет: «Давай соберём». Но этого не случилось. Дни шли, коробка стояла на шкафу, а мечта медленно оседала пылью. И когда Сергею уже было по-

что сорок, он узнал, что яхту так никто и не склеил. Она так и простояла всю жизнь в той коробке, будто ждала момента, который так и не наступил. И каждый раз, шагая по дороге из города ночью, Сергей снова и снова задавался одним и тем же вопросом: где его чуточка счастья, чуточка любви и понимания? Почему он столько старался, столько делал, а в ответ получал только тишину? И если Господь его оберегал, если ангел-хранитель вёл его по жизни, то для чего? Чтобы он продолжал идти вперёд, даже когда не знал, куда ведёт эта дорога?

Гораздо страшнее были люди, потому что от леса не ждёшь предательства, а от людей — ждёшь, и оно случается.

Глава 8. Попутка

Наконец, одна машина остановилась. Из приоткрытого окна пахло тёплым воздухом и запахом сигарет. Серёга быстро придумал историю, ту самую, которую уже столько раз повторял про себя, и она вылетела наружу ровно, без запинки. Люди поверили, спешно подвезли, спрашивали, не голоден ли он, не замёрз ли, но он только мотал головой, потому что боялся, что если откроет рот, то голос дрогнет, и тогда они поймут, что он не тот, за кого себя выдаёт.

Машина была тёплая — это было первое, что он почувствовал. Тепло от печки, запах бензина, табака и какой-то еды — может, бутерброды лежали на торпедо, может, просто запах остался. Серёга сел на заднее сиденье, вжался в угол, прижал колени к груди и смотрел в окно, на проносящиеся

мимо деревья и фонари. Водитель был мужик средних лет, с бородой и усами, голос хриплый, добрый, и он говорил что-то про дорогу, про погоду, про то, что ночь сегодня холодная, — говорил ровно, спокойно, как говорят с теми, кого везёшь и больше никогда не увидишь. А рядом, на пассажирском, сидела женщина — может, жена, может, просто попутчица — и она обернулась, посмотрела на Серёгу и сказала: «Ты бы поел, а?» — и в голосе её была такая простая, обычная забота, что у Серёги защипало в глазах, и он отвернулся к окну, чтобы не видно было. Он мотнул головой — нет, спасибо, не голоден — и слышал, как слова вышли ровно, без дрожи, и был благодарен себе за то, что голос не подвёл. Хотя есть хотелось так, что в животе всё свело, и он боялся, что желудок заурчит, и тогда они поймут.

Его единственной целью было оказаться подальше от отца и матери, в большом городе, где начнётся какая-то новая жизнь, своя, отдельная, без старых обид и ожиданий. Может, там найдутся люди, которые примут его, не как временное неудобство, а как своего, родного, того, кого не хочется отпускать.

Мимо проносились машины, грузовые особенно старались поднять побольше пыли, и она оседала на одежде, скрипела на зубах, напоминала, что он теперь сам по себе. Он шёл, не особо разбирая дороги, думал о чём-то смутном, напевал себе под нос обрывки песен, которые где-то когда-то слышал. В голове крутились одни и те же вопросы: «А что

дальше? Куда идти? Что меня там ждёт?» Но ответов не было, только тишина внутри и шум дороги снаружи.

В кармане у него лежали несколько сигарет и коробок спичек — не для того, чтобы курить, а скорее как символ какой-то взрослой самостоятельности, которую он пытался себе придумать. А вот еды он с собой не взял: то ли не подумал, то ли решил, что это лишнее. На случай голода у него был простой план — залезть на какой-нибудь огород, набрать хоть чего-нибудь. Правда, он и сам понимал, что сезон ещё не тот: ничего толком не созрело, разве что зелень какая-нибудь, да и то вряд ли. Но даже эта мысль грела: мол, если совсем прижмёт, выход есть.

Сигареты он берёт — не курил, а просто трогал их в кармане, перебирал, как чётки, и от этого становилось чуть спокойнее. Коробок спичек был маленький, потёртый, с картинкой — то ли корабль, то ли парус, — и Серёга не помнил, откуда он взялся. Может, нашёл, может, украл, может, кто-то дал. Он не помнил. Но хранил, как талисман, как доказательство того, что он взрослый, что он сам по себе, что ему не нужен никто, чтобы выжить. Хотя на самом деле нужен был. Нужен был очень.

Постепенно сквозь привычный дорожный шум начал пробиваться другой звук — гул мотора, но не такой, как у грузовиков, а более ровный, уверенный, и к нему примешивалась музыка, доносившаяся из открытых окон машины. Сергей обернулся и увидел, как рядом притормаживает автомо-

биль — тогда такие машины только начинали появляться на улицах, и выглядели они почти как из другого мира. Из неё вышел мужчина — весёлый, шумный, весь в татуировках, с таким взглядом, будто он знает о жизни всё и немножко больше.

Впрочем, иногда всё же собирались в подвалах — в тех самых каморах, где понемногу обустраивали себе временное пристанище. Это были не комнаты, а скорее закутки, отгороженные от остального мира кусками фанеры и старыми дверями, порой с облупившейся краской и щербатыми краями — будто кто-то пытался вырезать себе уголок тишины посреди городского шума. Туда из помоек притаскивали всё, что могло сделать жизнь чуть удобнее: потрёпанные паласы, чтобы не сидеть на холодном бетоне, который даже летом отдавал сыростью и промозглюю; обломки мебели, матрасы с торчащими пружинами, диваны, у которых давно не осталось ни стиля, ни гордости, но которые всё ещё могли держать человеческий вес.

Обустраивали как могли, чтобы там было хотя бы не совсем жутко, чтобы можно было на час-другой убедить себя, что это почти дом. В этих закутках пахло пылью, старым деревом и чем-то неуловимо горьким — запахом чужой беды, осевшей на вещах. Многие оставались там ночевать — те, кому совсем не хотелось возвращаться туда, где их не ждали или где ждали только упрёки, тяжёлые взгляды и слова, которые бьют сильнее кулаков. Иногда в таких подвалах соби-

рались целыми компаниями, и тогда среди сломанных стульев и старых одеял вспыхивали короткие, неровные разговоры, в которых каждый старался казаться сильнее, чем был на самом деле.

Пропитание добывали кто как умел. Периодически ходили «набегами» к погребам: взламывали навесные замки и набирали оттуда соленья, варенья, картошку — всё, что помогало не лечь спать с пустым, гулким животом, который будто становился громче от тишины. Зимой дело шло иначе: на севере многие, у кого не хватало места в холодильнике, спокойно вывешивали овощи за окно, на вторых этажах, закрепив их за форточкой. Мороз работал не хуже любой морозилки, и это знали все. Ребята ходили с длинными удочками, а вместо крючков использовали лезвия — ими аккуратно срезали сетки, в которых хранились припасы. Там могло быть мясо, а могло быть что-то попроще — всё шло в ход. Добыча была разной, но цель у неё была одна: просто не остаться голодным, не дать холоду и пустоте внутри стать сильнее.

Ещё воровали бельё с верёвок. Тогда почти все покупали вещи в «варьках» — так называли небольшие торговые точки, где продавщицы брали всё подряд: и комплекты постельного белья, и более-менее приличные вещи. Поэтому бельё с уличных верёвок становилось почти валютой: его снимали удочками или спиннингами, а кто-то, особенно отчаянный, лазил по балконам. В общежитиях это было целым искус-

ством: зайти в подъезд было почти невозможно — там сидела консьержка, зоркая и непримиримая, будто сама судьба охраняла эти двери. Она знала всех по именам, помнила, кто с кем пришёл, и не пускала никого без веской причины. Зато снаружи, по балконам, можно было пробраться почти куда угодно. Были мальчишки, которым нравился сам риск, сама эта опасная ловкость, когда пальцы скользили по обледененным перилам, а сердце колотилось так, что заглушало даже шум ветра. Они смеялись над собственным страхом, превращая его в браваду. И Сергей тоже ходил с ними, лазил, крал. Но делал он это не ради азарта и уж точно не ради роскоши. Крали, чтобы быть сытыми, чтобы не дрожать от холода, чтобы хоть на вечер почувствовать себя живыми и не такими брошенными, будто у них всё ещё есть право на этот город.

Глава 9. Нижневартовск

Так начиналась его жизнь в новом городе. Пока у него не было ни друзей, ни надёжного угла, ни хоть какого-то намёка на стабильность. Но он знал: рано или поздно город станет своим. Он выучит его тёмные дворы и «хлебные» места, где чаще всего можно выпросить или найти еду, начнёт узнавать лица таких же беспризорников, с которыми легче держаться вместе. И постепенно Нижневартовск перестанет быть чужим, холодным и враждебным — он станет просто местом, где Сергей учится жить по новым, суровым правилам.

Сергей ходил по неизвестному, чужому городу — и каждый шаг отдавался в груди тяжестью, будто он нёс на плечах

не рюкзак, а сам этот город со всеми его серыми панельными домами, облезлыми вывесками и равнодушными прохожими. Город будто специально старался выглядеть неприветливым: фонари горели через один, асфальт был изрыт ямами, а ветер гнал по тротуарам обрывки газет и пустые пластиковые бутылки. Он не знал, куда податься, с чего начать, но внутри словно щёлкал какой-то тёмный, упрямый компас — он тянул его туда, где кипит жизнь, пусть даже эта жизнь была изломанной, опасной, чужой.

Дома здесь были другие — не те, к которым он привык. Пятиэтажки стояли ровными рядами, как солдаты на плацу, одинаковые, серые, с потрескавшимися стенами и ржавыми водостоками. Между ними — узкие дворы с чахлыми деревцами, которые никак не хотели расти, будто и им было холодно. Кое-где на лавочках сидели старухи в платках, провожали каждого прохожего взглядом — тяжёлым, оценивающим, будто спрашивали: «Ты зачем тут? Твой ли это двор? К кому ты идёшь?» И Сергей спешил пройти мимо, не замедляя шага, не оглядываясь, потому что знал: если остановишься — начнутся вопросы, а вопросов он боялся больше, чем холода.

Однажды он остановился у витрины закрытого магазина и впервые по-настоящему увидел своё отражение. В стекле он выглядел старше своих лет: глаза были слишком внимательными, взгляд — осторожным, а в лице читалась привычка не доверять ни людям, ни обстоятельствам. На секунду ему

захотелось, чтобы кто-нибудь из прохожих обернулся, заметил его, спросил: «Ты в порядке?» Но никто не обернулся. И тогда он понял: здесь ему придётся быть не только сильным, но и невидимым.

Сергей приехал всё-таки в Нижневартовск — за сотни километров от родного города, где даже воздух был другим: тяжёлым, пропитанным запахом нефти и сырого ветра, который здесь будто никогда не утихал. Он сидел в подъезде на холодных бетонных ступеньках, прислонившись спиной к шершавой стене, и чувствовал себя крошечным и бесконечно одиноким посреди огромного чужого города. Здесь он не знал никого, здесь всё было незнакомо — даже очертания домов казались чужими, будто выстроенными по каким-то другим, непонятным ему законам. И как выживать, он даже ещё не представлял. Да и откуда мог взяться план у маленького ребёнка, который просто бежал, не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от того, что делало его жизнь невыносимой?

Он был на самом деле лишним на этой планете — так ему казалось в те минуты, когда тишина подъезда давила сильнее любых слов. Сергей то выходил на улицу, шурясь от резкого северного света, то снова прятался в подъезд, будто стены могли хоть немного защитить его от этого огромного, равнодушного мира. Он курил, стараясь делать затяжки незаметно, будто сам стыдился этой взрослой привычки, которая никак не вязалась с его возрастом. Смотрел на прохожих: на

усталых женщин с сумками, на спешащих мужчин в тёплых куртках, на подростков, которые смеялись и толкались, не думая ни о чём серьёзном. И каждый из них казался ему частью какой-то большой, правильной жизни, в которую ему не было входа.

А в животе уже начинало потихоньку рычать, и желудок настойчиво давал знать о себе, требуя хоть какой-то еды. Но идти красть... Эта мысль приходила и тут же отталкивалась, как что-то грязное и опасное. Одно и то же, что просто пойти и сдать в милицию, особенно в незнакомом городе, где он не знал ни дворов, ни подворотен, ни тех укромных мест, где можно было бы спрятаться после. Идти действовать, как безрассудные уличные бандиты, — это было не его дело. У Сергея был очень хорошо развит инстинкт самосохранения: он тонко чувствовал, где пахнет бедой, а где можно проскочить незамеченным. Он понимал: снимать шапки на севере, дёргать сумочки у прохожих — это не только опасно, но и как будто унижительно, словно ты сам соглашаешься стать тенью, которую все боятся и презирают.

И тогда он решился попробовать пойти просить. Для него это было почти невыносимо.

Первый раз он подошёл к женщине у магазина — полной, в коротком пальто, с двумя пакетами в руках. Она копалась в сумочке, ища мелочь для кассы, и Сергей еле слышно произнёс:

— Извините... Вы не могли бы...

Она обернулась, посмотрела на него — быстро, оценивающе, — и на лице её мелькнуло что-то: не жалость даже, а узнавание. Она видела таких. Она знала, что за этим «извините» стоит, и что если дать сейчас — потом будет ещё, и ещё, и конца этому не будет. Она отвернулась, пробормотала «мелочи нет», и пошла к машине. Серёга стоял, глядя ей вслед, и чувствовал, как внутри — не обида, а что-то другое: пустота. Он как будто заранее знал, что так будет, и всё-таки попробовал, потому что надежда — это последнее, что умирает.

Второй раз он подошёл к мужчине — пожилому, в кепке, с сигаретой в зубах. Мужчина стоял у ларька, ждал, пока нальют пиво, и Серёга подошёл и сказал:

— Дядь, дайте на хлеб, пожалуйста.

Мужчина посмотрел на него, долго, внимательно, будто разглядывал что-то знакомое, и сказал:

— Ты есть хочешь?

Серёга кивнул. Мужчина зашёл в ларёк, вышел с пакетом, в котором лежали батон и пачка печенья, протянул ему и сказал тихо:

— На, ешь. И уходи отсюда. Тут не место для тебя.

Серёга взял пакет, поблагодарил — и ушёл. Не потому что мужчина сказал, а потому что и правда пора было уходить: солнце садилось, и улицы пустели, и в пустоте этой было что-то пугающее.

Так проходила очередная ночь. Он пытался дремать, но

спал чутко, вполглаза, потому что знал: по подъездам иногда шатались пьяные компании, которые искали, на ком сорвать злость, или просто ради забавы могли избить того, кто слабее. Сергей остерегался этого, прислушивался к каждому шороху, к скрипу дверей, к шагам на лестнице. Он умел просыпаться мгновенно, за долю секунды до того, как беда могла постучаться слишком близко. Эта постоянная настороженность выматывала сильнее, чем голод или холод, но он не понимал, как сильно это бьёт по его здоровью, по нервам, по способности просто радоваться чему-то простому.

Иногда ему казалось, что он уже не различает звуков по отдельности: скрип половиц сливался с шарканьем подошв, а отдалённый смех — с угрожающим рычанием. Он научился считать город как чужой, враждебный механизм, где любая деталь могла стать сигналом тревоги. Даже тишина здесь была особенной — не спокойной, а напряжённой, будто перед грозой, когда воздух становится густым и тяжёлым.

Однажды ночью в подъезд ввалилась компания — трое мужиков, пьяных, шумных, с бутылками. Серёга услышал их ещё с улицы — гогот, звяканье стекла, тяжёлые шаги — и мгновенно свернулся за лестничным пролётом, вжался в угол, прикрыл глаза. Они поднялись на второй этаж, сели прямо на ступеньки, стали пить, курить, ржать. Один из них сказал:

— Слышь, а тут кто-то есть? Мне показалось, кто-то дышит.

— Тебе всегда кажется, — ответил другой. — Ты когда выпьешь, тебе и черти мерещатся.

— Да нет, серьёзно. Может, пацан какой-то?

Серёга замер. Сердце колотилось так, что он боялся: они услышат. Но мужик отмахнулся от товарища, сказал: «Да ладно, показалось», — и они продолжили пить. Через полчаса ушли, шатаясь и ругаясь, и Серёга ещё долго не мог расслабиться, лежал, вжимаясь в бетон, и слушал, как стихают их голоса вдалеке.

Люди иногда говорили ему: «У тебя хороший ангел-хранитель, тебя оберегает». И он каждый раз мысленно задавал один и тот же вопрос: «Для чего?» Для чего его берегут, если каждый день приходится выживать, прятаться, придумывать истории, просить, терпеть и снова выживать? Он не находил ответа, но продолжал держаться, потому что другого выбора у него просто не было.

Глава 10. Вокзал

Постепенно он перебрался в район железнодорожного вокзала — туда, где воздух гудел от грохота составов, где ночь не наступала по часам, а накатывала волнами, смешиваясь с паром от тепловозов и запахом угля, смешанного с машинным маслом и пылью. Вокзал жил своей особой жизнью: здесь не было ни дня, ни ночи в привычном смысле, время дробилось на прибытия и отправления, на короткие передышки между поездами и долгие, тягучие часы ожидания.

Вокзал Нижневартовска был не такой, как в его родном городе, — больше, шумнее, суетливее. Здание — длинное, одноэтажное, из потемневшего кирпича, с облупившимися стенами и трубой, из которой валил пар. Перед ним — площадь, вымощенная бугристым асфальтом, с лужами, которые не высыхали даже летом. По краям площади — ларьки, одинаковые, как клетки, с железными ставнями и вывесками, на которых было написано мелом: «Чай», «Пирожки», «Сигареты». У входа стояла вывеска «Ж/Д ВОКЗАЛ» — большие буквы на ржавом каркасе, из которых одна давно не горела, и слово читалось как «Ж/Д ВОКАЛ», будто вокзал сам не мог выговорить своё имя.

Сергей начал вечерами гулять по перронам и залам ожидания, присматриваться, приноживаться к этому миру, как загнанный щенок, который ищет хоть какую-то щель, чтобы спрятаться. Он высматривал, где «чепуха лежит» — где человек чуть-чуть ослабил хватку, где сумка небрежно поставлена у скамьи, где пьяный вахтовик, уставший после смены, прикрыл глаза и на секунду перестал быть настороже.

Там, среди вокзальной суеты, случалось много всяких инцидентов — кто-то терял кошелёк, кто-то забывал чемодан, а кто-то сам нарывался на неприятности. Сергей учился читать эти знаки, учился быть незаметным, как тень между колоннами, сливаться с полумраком, не привлекать к себе внимания. Он запоминал, в какой момент охранник отворачивается, когда дежурная уходит в подсобку, как меняется ритм

вокзала в зависимости от времени суток: ранним утром тут было почти пусто и оттого особенно тревожно, днём всё бурлило и толкалось, а ближе к ночи появлялись те, кто не хотел быть замеченным.

В зале ожидания пахло угольной пылью, мокрой одеждой и дешёвым чаем. На скамьях — лавках, обитых твёрдым, ледяным деревом, — спали, ели, курили, ругались, ждали. Вахтовики — мужики с обветренными лицами и красными глазами — сидели, привалившись к стене, с сумками между ног, и от них пахло мазутом, потом и водкой. Бабушки с баулами — в платочках, с торчащими из сумок хвостиками чеснока и укропа — переговаривались, делились едой, причитали. Солдаты — молодые, стриженные, с тощими вещмешками — курили у входа, переминаясь с ноги на ногу, и смотрели вдаль, будто уже видели место, куда их везут, и оно им не нравилось.

Дежурная по залу — тётя Зина, как он потом узнал, — женщина лет шестидесяти, с короткой стрижкой и вечной сигаретой в зубах, ходила по перрону с таким видом, будто вся эта вокзальная жизнь — её личное хозяйство, и каждый, кто в нём находится, — её подопечный, нравится ему это или нет. Она замечала всё: кто спит слишком долго, кто ест чужое, кто сидит без билета. Но была она не злая, а скорее усталая, и если замечала беспризорника, не выгоняла, а подходила, смотрела — и иногда, если видела, что совсем худо, приносила бутерброд и говорила: «Ешь и уходи, пока

начальство не увидело».

В один из вечеров он заметил, как мальчишка лет двенадцати, весь в грязи и с разорванным рукавом, ловко вытащил кошелёк из кармана уснувшего мужчины. Мальчишка не смотрел по сторонам, будто знал, что сейчас никто не смотрит на него. Сергей тогда впервые подумал, что у этой жизни есть свои законы — неписанные, но строгие, и если хочешь выжить, придётся их выучить.

— Не стой тут, — шепнул ему кто-то за спиной, и Сергей резко обернулся.

Перед ним стоял парень лет шестнадцати, худой, с острым лицом и внимательными глазами. На куртке у него болтал значок с логотипом какой-то спортивной команды, давно выцветший и почти стёршийся. Руки — длинные, тонкие, с обкусанными ногтями — постоянно двигались: то в карманы, то обратно, то теребили замок, то поправляли капюшон. Он стоял, переступая с ноги на ногу, будто не мог усидеть на месте даже стоя, и смотрел на Серёгу не враждебно, а оценивающе — как смотрят на вещь, которую, может быть, можно использовать, а может, и нет.

— Ты новенький? — спросил парень, не дожидаясь ответа. — Если будешь стоять столбом, тебя заметят. Тут нельзя быть заметным.

— Я просто... смотрю, — пробормотал Сергей.

— Смотри в движении, — парень кивнул на перрон. — Иди туда, будто знаешь, куда. Если стоишь — ты мишень.

Если идёшь — ты пассажир. Пассажиров не замечают.

— А ты кто? — решился спросить Сергей.

— Меня зовут Костя, — коротко ответил парень. — И если хочешь тут выжить — не задавай лишних вопросов.

Они пошли вдоль платформы, и Костя время от времени кивал кому-то, кто кивал в ответ — не по-дружески, а как будто подтверждал: «Я тебя вижу, ты свой».

— Тут есть места, где можно пересидеть ночь, — тихо сказал Костя. — Не тёплые, но тихие. Если знаешь, где прятаться, можно не бояться, что тебя выгонят.

— А еда? — тихо спросил Сергей, и сам удивился, что смог задать этот вопрос.

Костя усмехнулся, но без насмешки:

— Еда тут ходит в пакетах. Кто-то теряет, кто-то забывает, кто-то выбрасывает. Надо просто быть там, где люди устают и становятся невнимательными.

Он показал Сергею укромный угол за колонной, где почти не было света и где можно было присесть, не бросаясь в глаза.

— Посиди тут, — сказал Костя. — Если кто-то подойдёт — ты ждёшь поезд. Даже если не ждёшь. Главное — выглядеть так, будто у тебя есть цель.

— А у тебя есть? — спросил Сергей. — Цель?

Костя помолчал, посмотрел на него — и в глазах его на секунду мелькнуло что-то, что не было похоже на уличную хватку: что-то потерянное, детское, живое.

— Была, — сказал он. — Но это давно.

И ушёл, не оглядываясь, растворившись в вокзальной толпе, будто его и не было.

Сергей сидел за колонной и думал о Косте. О том, как он сказал «была» — не «есть», а «была», — и от этого прошедшего времени веяло такой пустотой, что Серёга почувствовал: этот парень уже не ждёт ничего. Он живёт по инерции, по привычке, потому что не знает, как остановиться. И от этого понимания стало страшно — не за Костю, а за себя: а я? Я тоже приду к этому? Тоже перестану ждать?

Вокзальные ночи были длинными. Свет — жёлтый, тусклый, с дрожащим оттенком — лился с потолка, и в этом свете всё выглядело призрачным, ненастоящим: лица спящих, их руки, их сумки. Серёга сидел, вжавшись в стену, и слушал, как гудит здание: гул труб, гул проводов, гул далёких составов, — и весь этот гул складывался в один звук, похожий на гудение огромного механизма, который никогда не останавливается.

Тётя Зина, дежурная, проходила мимо, и Серёга затаился. Но она его заметила — конечно, заметила, она всех замечала, — и остановилась.

— Ты опять тут? — спросила она без злости, скорее с усталым удивлением. — Сколько можно?

— Я жду поезд, — сказал Серёга, повторяя урок Кости.

— Какой поезд, — фыркнула тётя Зина. — Ты тут третий день околачиваешься, я тебя запомнила. Какой тебе поезд,

ты даже билета не держал ни разу.

Серёга молчал. Тётя Зина постояла, подумала, потом достала из кармана бутерброд — хлеб с колбасой, завёрнутый в целлофан — и протянула ему.

— На, ешь, — сказала она. — И скажи мне хоть одно правдивое слово. Ты откуда?

— Издалека, — тихо ответил Серёга, и это было правдой.

Тётя Зина посмотрела на него — долгим, тяжёлым взглядом, в котором было всё: и жалость, и усталость, и понимание, что ничего она сделать не может, — и сказала:

— Издалека — это не ответ. Но я не допрашиваю. Ешь и уходи. Если начальник смены увидит — обоим влетит.

Она ушла, и Серёга ел бутерброд, и он был самый вкусный из всех, что он ел в жизни, потому что был дан не из жалости даже, а из простого, обычного человеческого «ну не могу же я пройти мимо». И от этого «не могу» было теплее, чем от самого бутерброда.

Глава 11. Витика

Там он и познакомился с местной молодёжью — с ребятами, которых жизнь толкнула к краю ещё раньше, чем они успели понять, что такое «край». Это были трудные дети, выросшие не в благополучных семьях, а в тех, где взрослые либо кричали друг на друга до хрипоты, либо молчали, уткнувшись в бутылку, либо просто исчезали на дни, оставляя детей одних разбираться с бытом, голодом и страхом. Среди них Сергей нашёл временное пристанище — у кого-то он да-

же жил какое-то время, перекатываясь из одного дома в другой, как камешек, который течение несёт от берега к берегу. Родители сперва как-то не обращали внимания, что у них живёт какой-то мальчишка: в тех домах хватало своих бед, и лишний ребёнок в комнате был не самой большой проблемой.

А жили они не по одному и не по двое — они сбивались в стаи, в компании, где слово «дом» означало просто место, где можно лечь и не бояться, что тебя выгонят в мороз. У Витики, например, жило сразу несколько ребят — мальчишки и девчонки спали в одной комнате по десять человек, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее и чтобы не так страшно было слушать, как за стеной ругаются взрослые. Мать Витики пила, отец пил каждый день, и для них главным было, чтобы кто-то давал денег на алкоголь, а что творится в детской комнате — их почти не волновало.

Витик — так все его звали, хотя настоящее имя его было Виталий, но никто не произносил это имя полностью, будто оно было слишком длинным, слишком официальным для того мира, в котором они жили. Витик был парень лет тринадцати, невысокий, жилистый, с тёмными глазами, которые смотрели настороженно и одновременно насмешливо, будто он уже всё про всех знал и ничему не удивлялся. У него была привычка смеяться невпопад — когда все молчали, он вдруг хихикал, и от этого смеха было не по себе: будто он смеялся не над шуткой, а над чем-то, что понимал только он. Он пер-

вым подошёл к Сергею, когда тот сидел у вокзала, и сказал:
— Ты чей? Откуда? Вижу, что не местный. Местные тут уже все друг друга знают.

— Ни чей, — ответил Сергей.

— Ну, «ничей» — это тоже чей-то, — философски заметил Витик. — Пойдём, у нас есть место. Не дворец, но крыша есть. А ты, я смотрю, уже второй день без крыши.

— А зачем тебе? — осторожно спросил Сергей.

— Не затем, — отмахнулся Витик. — Просто я тоже был «ничей». Давно. Знаю, каково это.

Дом Витики был на окраине — типовая панельная пятиэтажка, серая, с выщербленным фасадом и разбитыми качелями во дворе. Подъезд пах мочой и сигаретами. Лифт не работал — может, сломался, а может, его просто никогда не чинили. На третьем этаже — дверь, обитая коричневым дерматином, с оторванным номером. Витик открыл её ключом — ключ висел у него на шнурке вокруг шеи, вместе с каким-то амулетом, может, камешком, может, просто деревяшкой — и вошёл.

— Мам! — крикнул он в темноту коридора. — Я ещё одного привёл.

Из кухни донёсся невнятный звук — может, ответ, может, просто стук бутылки о стол. Витик не стал уточнять, повёл Сергея в комнату — маленькую, с двумя кроватями и матрасами на полу, с выцветшими обоями и окном, заклеенным скотчем.

— Тут спишь, — показал он на матрас у стены. — Не дворец, но не подъезд.

В комнате уже были ребята. Четверо мальчишек и две девочки — разного возраста, от десяти до четырнадцати, все в одежде, которая была им мала или велика, все с тем особенным выражением лиц, какое бывает у людей, привыкших не ждать ничего хорошего, но не потерявших способность шутить. Один из них — Колька, рыжий, с россыпью веснушек и оторванным карманом — тут же спросил:

— Витик, ты кого привёл? Он чей?

— Он ничей, — ответил Витик. — Как и мы.

— Ну, раз ничей, тогда наш, — кивнул Колька и повернулся к Сергею. — Ты есть хочешь?

— Хочу, — честно сказал Сергей, и от этого слова ему стало легче, потому что здесь, в этой комнате, можно было сказать правду.

— Вот, — Колька протянул ему половину сухаря и огрызок яблока. — Не «Савой», но жить можно.

— «Савой» — это ресторан? — спросил Сергей.

— «Савой» — это где-то в Москве, — объяснила одна из девочек — Наташа, маленькая, с тёмными косичками и серьёзными глазами. — Мы тут про него придумали, что когда-нибудь пойдём туда и закажем всё, что есть в меню. Всё подряд. И будем есть, пока не лопнем.

— А потом? — спросил Сергей.

— А потом — неважно, — ответила Наташа, и в голосе

её было столько спокойной, усталой мудрости, что Сергею показалось: она говорит не про ресторан, а про жизнь. — Главное — чтобы было «потом».

В этом доме время текло по своим законам: днём кто-то уходил «на дело», кто-то стоял у магазина и просил мелочь у прохожих, а вечером все собирались вместе, делили то, что удалось добыть, и старались не думать о том, что завтра снова придётся выживать. В такие вечера в комнате становилось почти уютно: кто-то рассказывал истории, кто-то смеялся над чем-то своим, а Сергей впервые за долгое время чувствовал, что он не один. Но эта иллюзия уюта рассыпалась каждое утро, когда приходилось снова выходить на улицу и искать, чем прокормиться.

В основном беспризорники занимались попрошайничеством: подходили к людям с усталыми глазами, просили «на хлебушек», а если видели, что где-то что-то плохо лежит — не упускали шанса. Кража была не злым умыслом, а способом добыть еду, сигареты, иногда просто тёплые носки. Так Сергей и жил у Вити — в этой тесноте, в этом шуме, в этом странном, ломаном братстве, где никто не спрашивал, откуда ты и почему сбежал, а просто кивали: «ложись тут, место есть». Они гуляли по тёмным дворам, крали то, что можно быстро продать или съесть, пытались выжить день за днём, не заглядывая далеко вперёд.

Периодически они позволяли себе короткий отдых — не настоящий, конечно, а такой, когда можно на полчаса забыть

про улицы и просто посидеть где-нибудь в укромном углу, поговорить ни о чём, посмеяться над какой-нибудь нелепой историей. Уже тогда они понемногу учились и выпивать — не ради веселья, а скорее чтобы приглушить холод, который пробирался под куртку и под кожу. Редко доходило до крепких напитков — чаще это было пиво, сладкие коктейли, джин с пивом, джин-тоники... Да, именно так, с этим странным, горьковато-сладким вкусом, который оставлял на языке ощущение чего-то взрослого, почти запретного. Но всё это тоже длилось недолго: милиция периодически устраивала облавы, выхватывая из этой уличной жизни то одного, то другого. Кого-то доставляли в детский дом, кого-то возвращали к родителям, и каждый раз, когда кого-то забирали, в компании становилось тише, будто из комнаты вынимали часть воздуха.

— Знаешь, — как-то вечером сказал Витик, когда они сидели в подвале и грели руки о жестяную банку, в которой тлели угли, — тут все держатся, пока могут. А потом их просто забирают. И ты не знаешь, кто следующий.

— А ты? — спросил Сергей.

Витик пожал плечами, и в этом движении было столько усталости, что Сергею стало не по себе:

— Я уже три раза убегал. Два раза меня находили. В третий раз я сам вернулся, потому что не знал, куда идти. Тут хоть крыша.

— И что теперь? — тихо спросил Сергей.

— Теперь ждём, — спокойно ответил Витик. — Ждём, пока нас не найдут. Или пока мы сами не придумаем, как уйти туда, где нас никто не будет искать.

— А есть такое место? — спросил Сергей.

— Не знаю, — Витик затаился, выпустил дым, посмотрел на угли. — Может, и есть. Но мы его пока не нашли.

Колька, который лежал рядом, на старом матрасе, и смотрел в потолок, вдруг сказал:

— А я знаю место. На севере, далеко. Там, говорят, посёлки стоят заброшенные, и в них — дома, и печки, и даже еда иногда остаётся. Вот туда надо. Туда никто не сунется.

— Это сказки, — отмахнулся Витик. — Нет никаких заброшенных посёлков с едой.

— А ты откуда знаешь? — обиделся Колька. — Ты был? Нет. А я слышал от вахтовика одного. Он говорил, что целые посёлки стоят пустые, потому что нефть кончилась и люди уехали.

— Если нефть кончилась, то и еда кончилась, — логично заметила Наташа. — И печки есть, а дров нет. И тепло есть, а только если сам натаскаешь.

— Ну и натаскаю, — упрямо сказал Колька. — Зато никто не будет говорить: «Ты чей? Откуда? Почему не дома?»

Сергей слушал и молчал. Он думал о том, что все они, каждый по-своему, ищут одно и то же: не дом даже, а место, где не нужно объяснять, почему ты здесь. Место, где можно просто быть, без вопросов, без историй, без масок. И от то-

го, что такого места, может, и не было, — от этого хотелось кричать, но никто не кричал. Все молчали, потому что при-
выкли.

Однажды, когда они сидели у магазина и просили мелочь, к ним подошла женщина — молодая, в пальто с пушистым воротником, с сумкой из «важного» магазина. Она остано-
вилась, посмотрела на Наташу — маленькую, с серьёзными глазами, в тонкой, не по сезону куртке — и спросила:

— Девочка, ты откуда? Где твои родители?

Наташа молчала. Она давно научилась не отвечать на та-
кие вопросы: ответишь — начнётся, разговор, потом мили-
ция, потом детский дом, потом побег, потом снова улица.
Колькая.

— Я не знаю, — сказала Наташа тихо, и это была полу-
правда: она действительно не знала, где мать, ушла три ме-
сяца назад, и где отец, ушёл ещё раньше.

Женщина постояла, порылась в сумке, достала купюру —
не мелочь, а бумажку, крупную по их меркам — протянула
Наташе и сказала:

— Купи себе поесть. И... если что, вот тебе номер теле-
фона. Позвони. Это социальная служба. Они помогут.

Наташа взяла деньги, кивнула, а когда женщина ушла, по-
смотрела на купюру и сказала:

— Социальная служба. Знаем мы эту службу. Помогут —
а потом отправят домой. А дома — хуже, чем тут.

— Не всегда, — тихо сказал Сергей, и Наташа обернулась

к нему:

— Ты веришь, что бывает лучше?

— Не знаю, — честно ответил он. — Но хочу верить. Потому что если не верить — зачем идти?

Наташа посмотрела на него — долго, внимательно, будто видела впервые, — и сказала:

— Станный ты. Все тут разучились верить, а ты — нет.

— Может, потому что я новенький, — ответил Сергей.

— Может, — согласилась она. — Поживёшь с нами — тоже разучишься.

И от этих слов стало холодно — не снаружи, а внутри, потому что в них было больше правды, чем он хотел бы признать.

Глава 12. Инфекционное отделение

Так и до Сергея дошла очередь. Его поймали — не в момент кражи, а просто потому, что он оказался не в том месте, не в то время: стоял у ларька, смотрел, как продавец пересчитывает мелочь, и не заметил, как к нему подошли двое в форме. Сначала он долго скрывал, кто он, что он, откуда он — называл выдуманные имена, придумывал истории, лишь бы не возвращаться туда, где его никто не ждёт. Он цеплялся за эту ложь, как за соломинку, потому что знал: если его отправят домой, всё начнётся заново. Но в конце концов сдался, сказал правду: назвал своё имя, признался, что он не местный, что сбежал из дома, потому что там ему было невыносимо.

— Имя? — спросил милиционер, не поднимая глаз от блокнота.

— Сергей, — ответил он после паузы, и каждое слово давалось с трудом, будто он выталкивал из себя камни.

— Фамилия?

Сергей назвал. Милиционер записал, посмотрел на напарника, сказал:

— Не местный. Значит, в инфекционку, на обследование. Потом решим, куда тебя.

— А домой можно не отправлять? — тихо спросил Сергей.

Милиционер поднял глаза, посмотрел на него — не зло, не жалостливо, а с тем профессиональным усталым выражением, какое бывает у людей, которые видят такое каждый день и уже не могут позволить себе чувствовать.

— Решать будет не мне, — ответил он. — Но если родители скажут, что заберут — заберут. Закон такой.

Поскольку он был не из этого города, его поместили в инфекционное отделение — туда обычно селили детей для проведения медицинских обследований перед тем, как определить в детский дом. Сергея поселили там до того момента, пока за ним не приедет представитель детской комнаты милиции или отец. Но ждать пришлось не так уж долго.

Он провёл в отделении примерно неделю — семь дней, которые тянулись, как резина, растягиваясь от одного приёма пищи до другого, от одного осмотра врача до следующе-

го. Палата была маленькой, с тусклой лампой под потолком и окном, за которым виднелся серый забор и кусочек неба. Каждый день он прислушивался к шагам в коридоре, гадал, кто придёт за ним и что будет дальше. Иногда ему казалось, что он слышит голос отца ещё до того, как тот появлялся — будто страх заранее подсказывал, что развязка близка.

— Ну что, Сергей, — сказала ему однажды медсестра, когда принесла поднос с обедом, — ты держись. Тут бывает тяжело, но это не навсегда.

— А надолго? — тихо спросил он.

Она чуть помедлила, будто подбирала слова, чтобы не сорвать и не сделать большее:

— Пока не решат, куда тебя дальше. Но ты не думай, что ты никому не нужен. Просто сейчас система такая: надо всё оформить.

— Система... — повторил он, как будто пробовал слово на вкус. — А если я не хочу, чтобы меня оформляли?

Медсестра вздохнула и присела на край стула у кровати:

— Иногда у нас нет выбора, — сказала она мягко. — Но знаешь, что я тебе скажу: ты стараешься держаться. Это уже много.

Медсестру звали тётя Лида — женщина лет пятидесяти, с добрыми, уставшими глазами и быстрыми, ловкими руками, которые всё делали одновременно: и поднос держали, и подушку поправляли, и градусник сували. Она была из тех людей, которые давно перестали удивляться чужой беде, но

не перестали её замечать. Она видела, что Серёга не ест — не потому что невкусно, а потому что аппетита нет, голод как будто пропал, уступив место чему-то другому, более глубокому и тяжёлому.

— Ты бы поел, — сказала она однажды, ставя поднос. — Худой какой. Одни кости.

— Не хочу, — ответил Серёга.

— Не хочешь — не надо. Но супчик я оставлю. Вдруг проголодаешься.

И оставила. И Серёга, когда она ушла, посмотрел на суп — куриный, прозрачный, с лапшой и кружком жира на поверхности — и вдруг почувствовал, что голод вернулся, внезапно, яростно, и он съел всё, до дна, и вытер хлебом миску, и от этого — от того, что ел, что наелся, что тепло разлилось внутри — ему стало легче. Не хорошо — но легче. И он подумал: вот так, значит, живёт обычный человек — ест, когда голоден, спит, когда устал, и не боится, что кто-то придёт и отнимет. Как это, наверное, просто — быть обычным.

В соседней койке лежал мальчишка лет десяти, тихий, с бледным лицом и вечно поджатыми коленями. Его звали Паша, и он почти не разговаривал, только иногда шептал: «Меня мама заберёт». Сергей не знал, правда это или он сам себе это повторяет, чтобы было не так страшно.

Однажды вечером, когда в коридоре стихли шаги, Паша тихо спросил:

— Ты правда сбежал?

Сергей кивнул, не глядя на него:

— Да.

— И не боишься, что найдут?

— Боюсь, — честно ответил Сергей. — Но дома хуже.

Паша помолчал, будто взвешивал эти слова:

— Мне кажется, везде страшно. Только в разных местах по-разному.

— А тебя зачем сюда? — спросил Сергей.

Паша отвернулся к стене, и Серёга увидел, что у него на спине, ниже ворота, — синяк. Большой, тёмный, с жёлтыми краями, старый, но ещё не сошедший.

— Мама... — начал Паша и замолчал. Потом: — Она не плохая. Она просто... когда выпьет.

— А отец? — спросил Сергей.

— Нет отца, — коротко ответил Паша. И замолчал, и больше они в тот вечер не разговаривали.

И в этом была какая-то горькая правда, от которой Сергею стало ещё тяжелее: не потому что он был один, а потому что таких, как он, было много, и у каждого — своя тяжесть, свой синяк, своя тишина, которую они носят внутри.

И вот через неделю за ним приехал отец. У отца своей машины не было, поэтому он приехал с дядей Витей — тот пригнал свою машину, и они вдвоём поднялись в отделение. Отец вёл себя странно: не кричал, не бил, даже почти не разговаривал с дядей Витей по дороге, только изредка бросал какие-то плоские шутки, будто пытался скрыть неловкость,

натянуть на лицо маску обычного человека, у которого всё в порядке. В этих шутках было что-то неестественное, как будто он репетировал роль «нормального отца» перед кем-то невидимым.

— Ну, здравствуй, — сказал отец, когда вошёл в палату. Голос ровный, взгляд мимо. — Собирайся. Поехали.

Сергей молча встал, взял свою куртку — тонкую, истрёпанную, с оторванной пуговицей — и пошёл за ним. Тётя Лида остановила его в коридоре, тихо сказала:

— Ты держись, Серёжа. Если что — ты знаешь, где нас найти.

И подала ему бумажку с номером. Серёга спрятал её в карман и кивнул, не глядя, потому что боялся, что если посмотрит — расплачется, а плакать при отце было нельзя.

В машине было тесно и пахло бензином. Дядя Витя за рулём — молчаливый, сосредоточенный, с руками, крепко сжимавшими баранку, будто боялся, что машина развалится, если он отпустит. Отец сидел рядом, на пассажирском, и время от времени бросал в адрес Сергея, сидевшего сзади, короткие реплики:

— Ну что, нагулялся? Довольный? В следующий раз я тебя в интернат отправлю, не будешь дёргаться.

— Я не просился в интернат, — тихо сказал Сергей.

— А тебя не спрашивают, — отрезал отец. — Тебя спрашивают, когда ты в школу ходишь, когда ты ешь, когда ты спишь. А куда тебя отправлять — решаю я.

Дядя Витя молчал, только раза два покосился в зеркало на Серёгу, и в глазах его было что-то — не жалость, не понимание, а что-то среднее, неловкое, как бывает у человека, который видит чужую беду и не знает, можно ли в неё вмешаться. Один раз он сказал:

— Ну, будет вам. Пацан и так настрадался. Дома разберётесь.

— Дома я разберусь, — подтвердил отец, и от этих слов Серёге стало холодно, потому что «разберусь» означало то, что всегда означало: тишину, запертую дверь, тяжёлые шаги в коридоре, и потом — боль. Не всегда физическую: иногда просто присутствие, давление, тяжесть, от которой нельзя спрятаться, нельзя убежать, нельзя закрыться.

Сергей ехал молча, уставившись в окно, остерегаясь даже случайно поймать взгляд отца. Он ждал экзекуции дома — той самой, которую всегда предчувствовал, когда отец возвращался с вахты. Для отца самым важным было, что о нём думают люди, как он выглядит в глазах соседей, знакомых, коллег. Ему было важно, чтобы сын не позорил его, не выставлял напоказ их семейные проблемы. А то, что творилось на душе у ребёнка, его почти не интересовало. Именно из-за этого Сергей никогда не хотел быть дома: там его никто не слышал, никто не спрашивал, как у него дела, что его тревожит, чего он боится. Дом был не убежищем, а местом, где нужно было молчать и терпеть, чтобы не сделать ещё хуже.

Так Сергея опять привезли домой. Какое-то время он жил

там, как на перевалочной базе: ждал, когда отец снова уедет на вахту, и тогда дышать становилось чуть легче. В эти дни он более-менее ходил в школу, старался не привлекать к себе лишнего внимания, но всё равно где-то срывался — то из-за насмешки одноклассника, то из-за несправедливого замечания учителя, и вскоре в дневнике появлялись плохие оценки, а в личном деле — замечания за плохое поведение. И каждый раз, когда приближался срок возвращения отца, Сергей понимал: скоро опять начнётся та самая напряжённая тишина в доме, те самые косые взгляды, то самое ожидание наказания.

В школе было тоже непросто. Учительница — тётя Галя, как её звали за глаза — женщина с тонкими губами и привычкой говорить назидательно, как будто весь класс был виноват в чём-то, чего ещё не совершил, — однажды вызвала его к доске и сказала:

— Сергей, ты опять не выучил. Что мне с тобой делать?

— Не знаю, — ответил он, и это была правда.

— Вот и я не знаю, — сказала она, и в голосе её прозвучала не злость, а усталость. — Ты способный, я вижу. Но ты не стараешься. Почему?

Сергей молчал. Что он мог сказать? Что дома ждёт отец, который вернётся с вахты и будет бить? Что он спит по три часа в сутки, потому что боится? Что ест через день, потому что мать не готовит, а сам он не умеет? Что ему некому помочь с уроками, потому что матери всё равно, а отца нет?

Он молчал, и тётя Галя смотрела на него, и в глазах её что-то дрогнуло — может, она что-то поняла, а может, просто устала.

— Садись, — сказала она тихо. — И... если что-то не так — ты можешь поговорить со мной. Договорились?

Сергей кивнул и сел. Но не поговорил. Не мог. Не умел. И не верил, что разговор что-то изменит.

За время отсутствия отца он успевал снова поругаться с матерью — она только и знала, что командовать: «иди туда», «сделай это», «не стой без дела», не пытаясь понять, что творится у него внутри. Её приказы звучали как удары по оголённым нервам, и каждый такой окрик подталкивал его всё ближе к двери. Однажды он не выдержал и сказал:

— Мам, ты хоть раз спросила, как у меня дела?

Она обернулась, посмотрела на него — и он увидел в её глазах не злость, а растерянность. Настоящую, детскую растерянность, будто он спросил её о чём-то, чему её никто не учил.

— А что должно быть? — сказала она. — Ты жив, одет, обут. Чего тебе ещё?

— Ничего, — ответил Сергей, и это было правдой: ему ничего не нужно было, потому что он давно перестал ждать, что она поймёт.

И в конце концов Сергей опять сбегал — очередной раз, будто сбрасывая с себя тяжёлую, колючую шубу, которая душила его дома.

И чем закончится в этот раз — история пока не знала. Впереди была новая улица, новый двор, новый шанс спрятаться или, наоборот, найти что-то, чего раньше не видел. А пока оставалось только идти вперёд и надеяться, что на этот раз удача будет чуть добрее. В каждом незнакомом подъезде, в каждом тёмном переулке ему мерещился какой-то выход, какой-то путь, который наконец-то выведет его туда, где его будут видеть и слышать. И он шёл, не оглядываясь, потому что оглядываться значило признать, что бежать некуда.

Глава 13. Кража у дяди Вити

Как-то утром Сергей зашёл в гости к знакомому отца. Тот как раз собирался уезжать — ему нужно было срочно уехать. Он пригласил Сергея попить чаю, а сам ходил по квартире, брился и собирал чемодан.

Дядя Витя — не тот, что возил его из больницы, а другой, знакомый отца, — был мужчина лет пятидесяти, крепкий, с крупными руками и хриплым голосом. Он жил в обычной двухкомнатной квартире на третьем этаже, с ковром на стене и хрустальной вазой на полке, и от него пахло одеколоном и табаком. Он был из тех людей, которые вроде бы ничего особенного не делают, но всегда при деньгах, всегда при деле, и никто точно не знает, откуда что берётся. Сергей его не особенно знал — видел раза три, когда тот приходил к отцу, — но дядя Витя его помнил, и когда Сергей случайно встретил его на улице и тот узнал его, позвал в гости.

— Серёга! — крикнул он через дорогу. — Ты Серёга? От-

да сын? Ну конечно, ты! Идём, я чай поставлю. Мне всё равно уезжать, а одному скучно.

Сергей сидел на кухне и пил чай. Чай был горячий, крепкий, с сахаром — три ложки, и Серёга размешивал их медленно, глядя, как сахар тает, как ложка крутится, как по краям чашки расходятся маленькие, кружевные волны. На кухне пахло пирогами — дядя Витя, видимо, пёк, или кто-то ему принёс. На столе — блюдце с печеньем, банка с вареньем, хлеб. Сергей ел, потому что был голоден, и дядя Витя не мешал ему есть, только покрикивал из ванной:

— Ты ешь, ешь, не стесняйся! Там ещё есть!

Из кухни хорошо просматривался коридор: была видна тумбочка рядом со стулом и сам стул, на котором стоял портфель — коричневый, кожаный, с двумя лямками. Портфель не давал Сергею покою. Он решил посмотреть, что внутри.

Серёга смотрел на этот портфель, и в голове у него шумело. Портфель стоял на стуле — старом, с потертым сидением, — рядом с тумбочкой, на которой лежали ключи и лежал футляр от очков. Портфель был кожаный, тёмно-коричневый, с потёртостями по краям, с двумя металлическими замками, которые поблёскивали в свете коридорной лампы. Он был не новый, но и не старый — рабочий, крепкий, из тех, что носят люди, у которых в нём что-то важное. Сергей смотрел на него и думал: а что если там что-то есть? Не деньги даже — а что-то, что можно продать, обменять, превратить в еду, в тёплую одежду, в билет. Что-то, что даст

ему ещё один день, ещё одну ночь, ещё один шанс не возвращаться домой.

Открыв портфель, Сергей обомлел: там лежали пачки денег — купюрами по пятьдесят тысяч. Пачки были толстые, перевязанные резинкой, и от них пахло типографской краской и чем-то ещё — может, кожей портфеля, может, чем-то чужим, тяжёлым. Сергей никогда не держал в руках столько денег. Он видел такие пачки только в кино, в фильмах про бандитов и про ограбления, и они всегда были связаны с чем-то опасным, далёким, не имеющим к нему отношения. А теперь они лежали перед ним, настоящие, tangible, и от этого слова «tangible» — осязаемый — он вдруг понял, что это не сон, что это по-настоящему, и сердце забилося так, что он услышал его стук в ушах.

Сначала он взял одну пачку, быстро отошёл, сел обратно на кухне. Руки дрожали, и он спрятал их под стол, сжал в кулаки, потом разжал, потом снова сжал. Он сидел и смотрел в стену, и в голове было пусто и гудело одновременно, как будто все мысли разом выскочили и остались только гул и дрожь. Потом подумал, что этого мало, и вернулся, чтобы забрать ещё — уже россыпью, не пачкой, а отдельными купюрами, торопливо сгребая их в карманы, в куртку, за пазуху. Всё спрятал, портфель закрыл и как ни в чём не бывало продолжил пить чай.

— Серёг, ты там не заснул? — крикнул дядя Витя из ванной. — Чай-то остынет!

— Иду, иду, — ответил Сергей, и голос его прозвучал ровно, почти спокойно, и он удивился этому, потому что внутри всё дрожало.

Пока он сидел, в голове крутились противоречивые мысли: с одной стороны, ему хотелось как можно скорее уйти, с другой — он боялся выдать себя суетливостью. Он старался дышать ровно, смотреть спокойно, будто ничего не произошло. Но внутри всё дрожало от напряжения и странного, почти пугающего восторга — он впервые держал в руках такую огромную сумму. И от этого восторга было стыдно, и от стыда было ещё больше восторга, и всё это путалось, мешалось, и он не мог разделить одно от другого.

Он сидел на кухне, держал чашку двумя руками и смотрел, как в чае плавает крошка печенья, и думал: а если дядя Витя заметит? Если посчитает? Если хватится? И тогда — что? Милиция, допрос, отец, и всё по новой. И от этих мыслей стало холодно, хотя чай был горячий и кухня была тёплая.

— Серёг, — сказал дядя Витя, заходя на кухню и застёгивая рубашку. — Ты что такой бледный? Приболел?

— Нет, — ответил Сергей. — Просто чай горячий, вот и покраснел.

— Ну, наливай ещё, — засмеялся дядя Витя. — Чай — не водка, от него не попьанеешь.

Вскоре за дядей Витей приехала машина. Посигналили — коротко, деловито, будто времени не было. Дядя Витя ска-

зал:

— Сергей, ну всё, передавай отцу привет, я поехал. Заходи, если что.

— Спасибо за чай, — сказал Сергей, и эти слова прозвучали в его ушах странно, будто он говорил их издалека, из другого измерения, где люди пьют чай и говорят «спасибо», а параллельно — в карманах горят чужие деньги.

Сергей поблагодарил его и пошёл гулять — а точнее, поскорее убежал, чтобы его никто не заметил. Он шёл быстро, почти бежал, стараясь не оборачиваться, и сердце колотилось, и ноги подкашивались, и ему казалось, что каждый прохожий, каждая машина, каждый фонарь — всё смотрит на него, всё знает, всё видит. Но никто не смотрел. Никто не знал. Никто не видел. Город жил своей жизнью, равнодушный, огромный, и Серёга был в нём каплей, песчинкой, ничем.

Только тогда он решился пересчитать деньги. Оказалось, что он взял семь с половиной миллионов. По тем временам это была огромная сумма. Руки дрожали, купюры шуршали, и Серёга считал и пересчитывал, и каждый раз выходило одно и то же, и от этого числа — семь с половиной миллионов — кружилась голова, и он не понимал, что с этим делать. Он никогда не думал о таких деньгах. Он думал о рублях, о десятках, может, о сотнях — на еду, на сигареты, на кино. А тут — миллионы. И от этой величины всё, что он знал о жизни, вдруг стало маленьким, смешным, незначительным.

Но Сергей не пошёл тратить их на мороженое и всякую мелочь, как сделали бы другие дети. Он отправился на рынок и купил джинсовый костюм — о нём он давно мечтал. Джинсовый костюм — это была не просто одежда, это была метка, знак, символ. В те времена джинсы были не просто штанами — они были пропуском в другой мир, мир, где ты не «беспризорник с улицы», а «нормальный парень, у которого есть вещи». Костюм был синий, тёмный, с белой строчкой, и пах кожей и краской, и Серёга надел его прямо в рынке, переоделся в кабине, вышел — и впервые за долгое время увидел в зеркале не худого, замёрзшего мальчишку в рваной куртке, а кого-то, кто мог бы быть обычным. Почти.

Полностью переоделся, а потом поехал к дяде Саше, человеку уважаемому: у него на квартире часто собирались такие же уважаемые люди и играли в карты. Сергею очень нравилась эта игра, он хотел научиться. Дядя Саша — не родственник, а просто «дядя», как называли всех старших знакомых — был мужчина лет шестидесяти, грузный, с золотой цепью на шее и перстнем на руке. Он жил в квартире на первом этаже, с тяжёлыми шторами на окнах и плотным запахом табачного дыма, который въелся в стены так глубоко, что его нельзя было выветрить ничем. К нему приходили играть — по вечерам, по ночам, — садились за стол, доставали карты, и играли серьёзно, по-взрослому, на деньги, и от этих денег у Серёги горели глаза.

Один из мужчин — пожилой, с усами и тёмными, умными

глазами, сказал ему:

— Ты никогда, Сергей, не научишься играть в карты, пока не проиграешь очень большую сумму денег, пока тебе на горло не сядет большая жаба. Пока тебя не будет давить мысль, что ты столько проиграл.

— Это зачем? — спросил Сергей.

— Затем, — ответил мужчина, тасуя колоду длинными, ловкими пальцами, — что карты учат не рукам, а голове. А голова учится только через боль. Через проигрыш. Когда ты проиграл столько, что не можешь спать — вот тогда ты начинаешь понимать. Не раньше.

— А если я не хочу проигрывать? — спросил Сергей.

— Тогда не садись за стол, — просто ответил мужчина. — Иди домой и забудь про карты. Но если хочешь играть — придётся платить. Все платят. Кто деньгами, кто нервами, кто — всем.

Остальные мужчины согласились и стали играть с Сергеем. Три часа они неторопливо учили его азам — и так же неторопливо обыгрывали. Но он держался как взрослый, как большой, и в конце спокойно рассчитался. Денег у него хватало.

— Ты не плох, — сказал дядя Саша, глядя, как Серёга отсчитывает купюры. — Ты спокоен. Это редкость. Но спокойствие — это ещё не умение. Умение — это знать, когда спокойствие нужно отбросить.

— Когда? — спросил Сергей.

— Когда на кону — всё, — ответил дядя Саша. — Когда проиграешь — и нечего будет есть. Вот тогда узнаешь, умеешь ты играть или нет.

Так все деньги и закончились. Но Сергей не жалел о них: легко пришли — легко ушли. Зато он вынес для себя важный урок — о картах и вообще об азартных играх. И, может быть, ещё один урок, более глубокий, не имеющий отношения к картам: деньги, если они не твои, не задерживаются. Они приходят чужими и уходят чужими, и от них остаётся только привкус — горьковатый, стыдный, как вкус сигареты, которую ты курил в первый раз: кажется, что ты взрослый, а на самом деле — просто ребёнок, у которого в горле дым.

Глава 14. Лето 1992-го и трасса

Лето 1992 года стояло жаркое, из тех, что врезаются в память не датами, а ощущениями: горячим асфальтом, который будто плавился под ногами, запахом пыли и нагретого металла, гулом проезжающих машин, от которого звенело в ушах. Именно в такое лето Сергей в очередной раз сбежал из дома — не в порыве бунта, а скорее от привычки: там, где его присутствие никому не было нужно, лучше было просто исчезнуть.

Город в то лето был как в лихорадке: советская власть ушла, новая ещё не встала, и в этом зазоре всё болталось, будто лодка без причала. Магазины пустые, очереди за хлебом — длинные, нервные, с руганью на всю улицу. На рынке — бараки, палатки, детские коляски с товаром: жвачка

«Love is», сигареты «Wayne» без фильтра, зажигалки с голыми бабами, кроссовки «Abibas» с кривыми полосками. Люди покупали и продавали всё что угодно, будто боялись, что завтра всё снова отберут, и надо успеть схватить, пока дают. В этом хаосе маленький, быстрый, незаметный мальчишка был не самой приметной фигурой — и Сергей этим пользовался.

Серёга сидел на трассе, на обочине, привалившись к дорожному знаку, и смотрел, как проносятся мимо машины — «КамАЗы» с прицепами, «Жигули» с привязанным к крыше багажом, автобусы с пожелтевшими стёклами. Пыль оседала на коже, на зубах скрипела, и он сплёвывал, и снова смотрел на дорогу. Солнце жгло макушку, плечи, колени, и пот стекал по спине, но он не двигался — терпел, будто проверял себя: сколько выдержишь, пока не сдохнешь? Терпения ему было не занимать, он научился терпеть давно, ещё тогда, когда отец в первый раз поднял руку, и с тех пор терпение стало его единственным оружием — не мечом, а щитом, который держишь, пока рука не отвалится.

— Эй, пацан, ты чё тут сидишь? — окликнул его дальний бойщик, высунувшись из окна «КамАЗа». Лицо у него было красное, потное, с каплями, висевшими на усах, как роса на проволоке. — Жарко же. Тебя тут не сварит?

— Жду попутку, — ответил Серёга, стараясь, чтобы голос звучал ровно и спокойно, будто он просто едет домой, будто у него есть куда ехать.

— Куда?

— В Нижневартовск.

— Ого, — дальнобойщик присвистнул, вытер лоб рукавом. — Далеко же ты собрался, пацан. А родители знают?

— Знают, — соврал Серёга, и ложь вышла гладко, отработанной, как монета, которую столько раз крутили в пальцах, что стёрлись все неровности.

Дальнобойщик посмотрел на него — внимательно, не топясь, — и Серёга приготовился к вопросам, к сомнениям, к отказу. Но мужик просто кивнул:

— Ну, садись. Довежу до поворота, а там разберёмся.

Серёга залез в кабину. Пахло соляжкой, потом, старыми газетами и чем-то кислым, может, прокисшим супом в термосе за сиденьем. Кондиционера не было — только люк, приоткрытый, и через него лился горячий воздух, будто из печки. Но всё-таки это была тень, и сиденье было мягкое, и ехать было лучше, чем сидеть на обочине.

Дальнобойщика звали Михалыч — он сам назвал себя, не дожидаясь вопроса. Был он мужик лет пятидесяти, с короткой стрижкой, крепкими руками и татуировкой на предплечье — якорь, старая, синяя, выцветшая, как фотография, которая слишком долго лежала на солнце. Ехал он порожняком — гнал машину обратно после доставки, и в кабине было тихо, только гул мотора да шуршание шин по асфальту.

— Нет, — согласился Серёга. — Не первый.

— И не последний, — добавил Михалыч, и в голосе его было не осуждение, а что-то похожее на узнавание. — Я тоже когда-то пацаном бегал. Не от отца — от детдома. Бежал, ловили, снова бежал. Понимаешь?

— Понимаю, — тихо сказал Серёга, и впервые за долгое время это слово было правдой.

— Я сейчас не жалею, — продолжил Михалыч, переключая передачу. — Потому что из этого получилась жизнь. Не хорошая, не плохая — просто жизнь. Но тогда, когда бежал, казалось, что хуже не бывает. А бывает. Всегда бывает хуже. Но и лучше — тоже бывает. Просто ты этого пока не знаешь.

Серёга молчал и смотрел на дорогу. Дорога уходила вдаль, прямая, как стрела, и горизонт дрожал от жары, и казалось, что дорога ведёт в никуда — просто в марево, в пустоту, в место, которого нет. Но ехать по ней было всё равно лучше, чем стоять.

Сергей всё чаще ловил себя на мысли, что пора уезжать — далеко, туда, где его никто не знает, где никто не схватит за рукав и не потащит обратно к отцу, где у него будет хотя бы крошечный шанс начать заново, пусть даже с пустыми карманами и тяжёлым прошлым за спиной. Мысль об отъезде грела, как слабый огонёк в промозглом подвале: она давала надежду, что где-то есть место, где он сможет быть просто Сергеем, без лишних приставок и чужих ожиданий.

При этом Сергей был очень умным — не книжным, а тем самым, уличным умом, который учится на ошибках и бере-

жёт себя от лишних ударов. Он никогда не шёл на риск очертя голову. Каждый раз он сперва думал, просчитывал, взвешивал: как украсть так, чтобы не поймали, где спрятаться, куда бежать, если что. Он не действовал наугад, не надеялся на удачу — он строил маленькие, хлипкие, но свои планы, словно собирал из обломков что-то надёжное. И если чувствовал, что риск слишком велик, предпочитал отступить, переждать, поискать другой путь. Эта осторожность не раз спасала его, делала чуть менее заметным в городе, который хотел его поймать, словно сам воздух здесь был пропитан чужими взглядами и пересудами.

— Михалыч, — сказал Серёга, когда они проехали уже часа два, — а вы бы вернулись в детдом, если бы знали, что будет?

Михалыч помолчал, поправил кепку, посмотрел в зеркало:

— Знаешь, пацан, вопрос не в том, куда вернуться. Вопрос в том, откуда бежать. Если бежать от того, что тебя убивает, — беги. Не думай. Беги. Но помни: бежать — это не жить. Бежать — это бежать. А жить — это когда ты останавливаешься и решаешь: вот тут я буду. Тут. Не где-то там, а тут.

Серёга кивнул и больше не спрашивал. Но слова Михалыча застряли в голове, как заноза, — и он вертел их и вертел, не понимая пока, что они означают, но чувствуя, что означают что-то важное.

Михалыч довёз его до развилки, высадил, сказал:

— Тут до Нижневартовска ещё далеко. Но тебя подберут. Ты не бойся. И... вот, — он достал из бардачка бутерброд и протянул. — На, поешь. И не торопись. Дорога никуда не денется.

Серёга взял бутерброд, поблагодарил, и Михалыч уехал, и «КамАЗ» растворился в мареве, будто его и не было. Серёга стоял на развилке с бутербродом в руке, и дорога уходила в две стороны, и он не знал, какая из них правильная. Но выбрал — и пошёл.

Глава 15. Пойман. Питки током

И всё-таки однажды отец его поймал. И тогда Сергей понял, что выхода уже нет.

Через три дня его поймал отец. Серёга не знал, как отец узнал, где он — может, кто-то сдал, может, сам нашёл по своим каналам, а может, просто повезло — не Серёге, а отцу. Он вышел из подъезда, где ночевал, и сразу увидел его: отец стоял у машины, скрестив руки на груди, и смотрел — не злобно даже, а спокойно, с той пугающей спокойной уверенностью, какая бывает у человека, который уже всё решил и знает, что ты никуда не денешься. Серёга хотел бежать — ноги дёрнулись, тело рванулось, — но что-то его остановило. Может, усталость. Может, понимание, что бежать бесполезно: отец всё равно найдёт, рано или поздно, и чем позже — тем хуже.

— Ну, здравствуй, — сказал отец. — Довольный? Нагу-

лялся?

Серёга молчал. Отец подошёл, взял его за плечо — крепко, больно, пальцами в кожу — и повёл к машине. Серёга не сопротивлялся, шёл, вжимая голову в плечи, и чувствовал, как рука отца на плече тяжёлая, горячая, и от этой тяжести всё внутри сжалось, заledenело, будто тело уже знало, что будет дальше, и готовилось — не к сопротивлению, а к терпению.

Он жестоко избил Сергея и пытал током: отец был электриком и энергетиком, он собрал устройство с динамо-машиной и бил сына током, будто хотел выбить из него не только правду, но и саму способность лгать. Он не верил, что восьмилетний ребёнок мог потерять такую сумму за три дня, и эта недоверчивость была страшнее любого удара — она делала Сергея не просто виноватым, а каким-то изначально испорченным, недостойным даже простого доверия.

— Где деньги? — спросил отец, и голос его был тихий, ровный, от этого тихого голоса было страшнее, чем от крика.

— Я проиграл, — ответил Серёга. — В карты.

— В карты, — повторил отец, и губы его сжались в тонкую линию. — В карты. Ты. Восемь лет. И проиграл семь с половиной миллионов. Ты думаешь, я поверю?

— Можешь не верить, — тихо сказал Серёга, и от этих слов отец ударил его — сначала кулаком, потом ногой, и Серёга упал, и лёг на пол, и не поднялся, потому что знал: если поднимется — будет хуже.

— Я тебя спрашиваю: где деньги? — отец наклонился к нему, и от него пахло потом и одеколоном, и этот запах Серёга запомнит на всю жизнь: всякий раз, когда учует что-то похожее, внутри всё сожмётся, и тело напряжётся, и руки сами закроют голову.

— Я проиграл, — повторил Серёга, и голос его не дрогнул, и от этого отец разозлился ещё сильнее, и тогда появилась динамо-машина.

Отец таскал Сергея по всем чердакам, надеясь, что тот где-то спрятал деньги, будто в этих пыльных, захламлённых углах могла таиться разгадка, которая всё исправит. Они поднимались по лестницам, отец держал Серёгу за шиворот, и тот шёл, спотыкаясь, и на каждом чердаке отец говорил:

— Ну? Здесь? Здесь ты их спрятал?

— Нигде, — отвечал Серёга, и это была правда, но правда не имела значения, потому что отец уже решил, что сын врёт, и никакие слова не могли его переубедить.

А Сергей просто сказал, что проиграл их в карты. В этих словах не было ни бравады, ни раскаяния — только глухая усталость, будто он заранее знал, что ему не поверят, и уже смирился с тем, что наказание неизбежно.

Сергей снова лежал на кровати. Весь измученный после пыток отца. Тело горело — не от тока, а от ударов, от синяков, от того, что мышцы стянуло так, что невозможно было пошевелиться без боли. Руки дрожали — мелко, непрерывно, как у старика, — и он прятал их под одеяло, чтобы ни-

кто не видел. Глаза были открыты и смотрели в потолок — в ту же трещину, в ту же молнию, которую он видел каждый день, и она казалась ему единственной постоянной вещью в его жизни: всё менялось — дома, дворы, города, люди, — а трещина оставалась.

В этот раз отец придумал ему новое испытание: он закрыл его в комнате и пристегнул тросом к кровати, чтобы он не смог убежать. Трос был стальной, тонкий, но крепкий — отец знал в этом толк, он был электриком, и всё, что касалось проводов, тросов, цепей, было его стихией. Трос обхватывал лодыжку, и конец его был пристёгнут к ножке кровати — тяжёлой, железной, которую не сдвинешь одним рывком. Сергей пробовал — дёрнул, потянул, попытался выкрутить — ничего. Трос держал, кровать держала, стена держала, дверь держала. Всё держало.

Потому что отец так и не верил ему, что тот потратил деньги. Отец считал, что Сергей деньги спрятал и не рассказывает даже после всех пыток, где он их спрятал, чтобы потом воспользоваться ими.

Сергей лежал и думал, что нет — всё самое человеческое и доброе Сергею больше не о чём мечтать, надо спрятать это куда подальше, глубоко внутри себя. Не убить — нет, он не мог убить в себе то, что делало его человеком, — а спрятать, зарыть, как зарывают клад, не для того, чтобы найти, а для того, чтобы не украли. Потому что если это украдут — то от него ничего не останется, только оболочка, только тело,

которое ест, спит, бьёт и боится. А он не хотел стать оболочкой. Он хотел остаться собой — даже если «собой» означало быть одному, запертому, пристёгнутому тросом к кровати.

Он лежал закрытый, слышал там за дверью, как проходит жизнь: братья с родителями веселятся, ужинают... Сергею приносят поесть, потом собирают пустую тарелку. Мать заходила молча, ставила поднос на стул, уходила. Она не смотрела ему в глаза — не потому что не хотела, а потому что не могла. Ей было стыдно? Или она боялась того, что увидит? Серёга не знал и не спрашивал, потому что спрашивать было бесполезно: она всё равно не ответила бы, а если бы ответила — то не тем, что он хотел услышать.

Один раз младший брат — Лёшка, ему было лет шесть — просунул под дверь игрушку: маленького пластмассового солдатика. Не сказал ни слова, просто просунул и убежал. Серёга взял солдатика, посмотрел — зелёный, с отличной улыбкой на лице, с автоматом в руках, — и поставил его на тумбочку рядом с кроватью. Солдатик стоял и улыбался, и Серёга смотрел на него и думал: вот, значит, единственный, кто принёс мне что-то. И это — солдатик. И от этого было одновременно тепло и горько.

Сергей не хочет встречаться взглядом ни с отцом, ни с матерью, разговаривать им вообще не о чём.

— Серёж, — сказала мать однажды, остановившись в дверях. — Ты бы... поговорил с отцом. Сказал, где деньги. Ему бы полегче.

— Мне что, полегче? — спросил Серёга, и голос его прозвучал глухо, устало, из глубины, откуда уже не ждёшь ничего.

Мать помолчала, потом тихо сказала:

— Я не могу тебе помочь. Ты это знаешь.

— Знаю, — ответил Серёга. — Я давно знаю.

И она ушла, и дверь закрылась, и замок щёлкнул, и Серёга снова был один — со своим солдатиком, со своей трещиной на потолке и с тросом на лодыжке.

Да, вот так идёт жизнь у Сергея — уже не остаётся надежды, что может быть что-то лучшее, что что-то изменится в лучшую сторону. Сергей начинает озлобляться на весь мир, просто злится на всех, на всех!

Когда отец ставит ультиматум, что он никогда не добьётся уважения у своих знакомых директоров, у людей (он за людей считал только их), Сергей подумал, что есть ещё другие люди: есть дядя Саша, есть Самоха, есть Валера Курганский и все из того круга. Одним словом сидевшие люди для Сергея казались более душевными, отзывчивыми, хотя иногда творили зло, но порядочности в них Сергею казалось больше. И он тянулся к ним, решил, что дому своему больше он не нужен, здесь он лишний, ему туда.

Он лежал, обдумывая, как убежит, как это сделать, потому что в этот раз препятствий больно много. Он закрыт в комнате 24/7, мать если уходит, его переводят в туалет запирают, потому что там можно подпереть дверь. Отец уехал на

вахту, выхода нет.

Но выход всегда есть. Надо только ждать. И Сергей ждал.

Глава 16. Побег через туалет

Но как-то Сергей оставил ложку после очередного обеда и попробовал открутить гайки, которыми была затянута цепь, когда его закрыли в туалете и дома никого не было. Ложка была алюминиевая, тонкая, с погнутым черенком, — мать принесла ему суп, и Серёга, доев, незаметно сунул ложку под штанину, прижал к ноге, и мать, забирая поднос, ничего не заметила. В туалете он достал ложку, попробовал гайку — не подходила, головка ложки была шире, чем нужно. Тогда он начал гнуть, плющить, сплющил край ложки о край унитаза — алюминий мягкий, поддался — и получилось что-то вроде отвёртки, кривой, хлипкой, но рабочей.

В туалете он проковырял в двери дырку кафельной плиткой, которую оторвал от стены. Кафельная плитка — это было его орудие: он заметил её давно, ещё в первый день заточения в туалете. Плитка отошла от стены — может, от старости, может, от сырости — и висела, чуть накренившись, с зазором. Серёга долго ковырял, ногтями, потом ложкой, потом, когда мать ушла, обеими руками дёрнул — и плитка отвалилась, обнажив серый бетон и какой-то ржавый гвоздь. Край плитки был острый, как стекло, и Серёга порезал палец, но не остановился: боль была привычной, а свобода — нет.

Пока матери не было дома, он долго мучительно, но две-

ри раньше в советское время были полые, а шуметь сильно нельзя. Вот он проковырял эту дырку в двери в туалете, открыл засов, убрал подпёртую шваброй дверь, дверь открылась. Серёга встал, потёр затёкшую ногу — трос впился в кожу, оставив красный, вздувшийся след, — и прислушался. Тихо. В квартире — никого. Мать ушла, может, в магазин, может, к соседке, может, просто на улицу покурить. Время было неизвестно, часов в туалете не было, и Серёга мерил время не минутами, а ударами сердца: раз, два, три — и надо действовать.

Он быстро оделся, ему на всё было делать быстро, потому что он не знал, во сколько придёт мать. Быстро открыл двери и сбежал через чердак, потому что через подъезд выходить опасно — мог встретиться на встречу с матерью. Из-за этого он поднялся на пятый этаж, чердаки раньше были открыты, он залез на чердак и ушёл через чердак через соседние подъезды.

Чердак был тёмный, пыльный, с запахом птичьего помёта и сухих листьев. Доски скрипели под ногами, и Серёга шёл осторожно, на носках, стараясь не наступить на то, что хрустнет. Где-то голубь ворковал — тихо, сонно, — и этот звук был единственным живым звуком вокруг. Серёга пробирался между балок, труб и старых ящиков, и в темноте ему было не страшно — он привык к темноте, темнота была его другом, она прятала, укрывала, делала невидимым. Он вышел через люк соседнего подъезда, спустился по лестни-

це — тихо, быстро, не дыша — и выскочил на улицу через парадную, дверь которой была не заперта.

Всё! Сергей опять вырвался, опять может вздохнуть более-менее свободно, потому что дома у него нету воздуха, он не может дышать. Он постоянно боится, всегда остерегается чего-то. Но вот он всё-таки вырвался опять. И без разницы, что его ждёт впереди, самое главное — он свободен.

Воздух был прохладный — может, от вечернего ветра, может, от того, что после заточения всё кажется прохладным, — и Серёга вдыхал его жадно, глубоко, будто хотел напиться им, наполнить себя до краёв. Ноги бежали, и город мелькал мимо — дома, дворы, деревья, фонари, — и всё это было его, всё это было свободно, и от этого чувства, от этой мысли, он почти бежал, почти летел, и внутри — не радость даже, а облегчение, как когда после долгой задержки дыхания наконец выдыхаешь, и лёгкие раскрываются, и воздух входит, и ты жив.

Глава 17. Жёсткость

Теперь он меняется, ему приходится быть жестоким. Если на улице появляются какие-то возможности разборок среди молодёжи, Сергей всегда там. Сергею надо всегда быть первым, он становится жестоким. Если он дерётся, то дерётся до последнего, до крови, потому что только так он выбьется вперёд, уступать никак нельзя, и он становится очень жестоким.

Первая серьёзная драка случилась в конце лета. Серёга

сидел с ребятами у гаражей — Колька, Витик, ещё пара мальчишек, чьих имён он уже не помнил. К ним подошли трое постарше — лет шестнадцать, может, семнадцать, — из соседнего двора. Главный, коренастый, с бритой головой и тауировкой «ОЛМ» на костяшках, сказал:

— Вы чьи? Чей двор?

— Ничей, — ответил Витик.

— Ничей — значит наш, — сказал бритый и толкнул Витика в грудь.

Витик отступил, но Серёга не отступил. Он встал, посмотрел на бритого — снизу вверх, потому что был меньше и ниже — и сказал:

— Иди мимо.

— Чё? — бритый наклонился к нему, и от него пахло пивом и сигаретами. — Ты чё сказал, пацан?

— Иди. Мимо, — повторил Серёга, и голос его был тихий, ровный, и в этой тихоте было что-то, от чего бритый на секунду замер.

А потом ударил. Серёга упал, но тут же встал — и ударил в ответ. Не в лицо, не в живот — в горло, коротко, резко, как его учили не в секции, а на улице: бей туда, где больнее, не туда, где красивее. Бритый захрипел, схватился за горло, и Серёга ударил ещё — коленом в пах, потом ногой по голени, и бритый упал. Двое других кинулись на Серёгу, и он дрался — с двумя, с тремя, не считая, не разбирая, просто бил и получал, бил и получал, и когда его наконец повалили, он не

сдался, не застонал, не попросил — просто лежал и закрывал голову, и ждал, когда они устанут.

Они ушли. Серёга поднялся — весь в крови, с разбитой губой и сломанным ногтем, — и Витик сказал тихо:

— Ты чё, дурак? Их же было трое.

— И что? — ответил Серёга, сплёвывая кровь. — Завтра придут двое. А потом — один. А потом — ни одного.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что они понимают только силу. А если ты слабый — тебя бьют каждый день. А если ты сильный — тебя боятся. Я выбираю — боятся.

И с того дня его стали бояться. Не все, не сразу — но постепенно, по дворам, по подвалам, по вокзалу, пошёл слух: есть пацан, который дерётся как бешеный, не сдаётся, не плачет, не просит. Его звали по-разному, но чаще — просто Серёга, и когда произносили это имя, уже не переспрашивали: «Какой Серёга?» — знали, о ком речь.

Хотя в душе у него до сих пор таится где-то человеческое, доброе, надежда на что-то, но об этом никто никогда не узнает, об этом он может думать только перед сном наедине. Когда он ложился — где-нибудь на чердаке, в подвале, на лавке в парке — и закрывал глаза, внутри просыпалось что-то другое, не уличное, не жёсткое, а тихое, детское, и он представлял себе, как было бы, если бы кто-то подошёл и сказал: «Серёжа, пойдём домой, я тебя не обижу». И он шёл бы, и ему было бы тепло, и пахло бы едой, а не пылью, и голос был

бы тихий, и рука — мягкая, не бьющая, а ведущая. Но утром он просыпался, и этого не было, и он снова был жёстким, потому что мир был жёстким, и доброта в нём была роскошью, которую он не мог себе позволить.

А в окружении беспризорников, таких же, как он ушедших, сбежавших из дома, он будет жестоким.

Летом вечерами он выходит на речку, на набережную — в городе протекает речушка Пассол. Там обрывистый берег, летом там частенько выходят семейные пары с детьми отдыхать, шашлыки, природу или так просто компании. Сергей всегда пытался им втёрться в доверие.

— О, пацан, ты чей? — окликала его какая-нибудь мать, полная, загорелая, с пластиковым стаканом в руке. — Ты один? Где твои?

— Да тут рядом, — отвечал Серёга, улыбаясь — той улыбкой, которую он научился надевать, как маску: открытой, доверчивой, мальчишеской. — Мама вон там сидит.

И показывал в сторону, где «мама» — это была любая женщина, которую он выбрал наугад, и мать, окликнувшая его, не проверяла, потому что зачем? Мальчишка улыбается, говорит вежливо — значит, всё в порядке.

— Хочешь шашлык? — спрашивал кто-то из мужчин, помешивая угли. — Иди, ешь.

— Спасибо, — говорил Серёга, и садился, и ел, и разговор шёл — лёгкий, вечерний, ни о чём: про погоду, про работу, про то, как дети растут. И Серёга слушал, кивал, смеялся в

нужных местах, и ему казалось, что он — part of this, что он — часть этой семьи, этого вечера, этого костра, и от этого ощущения внутри что-то таяло, thawed, и он чувствовал, как доброта, которую он спрятал, поднимается к горлу, и он давил её, глотал, не давал выйти, потому что если выйдет — потом будет больше.

Втёрся лишь для того, чтобы совершить очередную кражу, потому что навсегда его никто не мог оставить у себя дома. А Сергей втёрся в доверие, его приводили к себе домой переночевать, он ждал, когда они засыпали, брал то, что можно взять ценного, и тихо ночью уходил. Потому что утром бы его сдали в детскую комнату милиции, потом его вернули бы обратно домой, всё одно и то же, ничего не менялось.

Потому что отцу все верили, что отец уважаемый человек, он обманывать не может, а Сергей всех обманывает. Из-за этого Сергей начал красть, стал быть жестоким.

Однажды, после очередной такой кражи — он вынес из квартиры видеомэгнитофон, который стоил уйму денег, — он сидел на чердаке и считал добычу, и руки его дрожали, но не от страха — от возбуждения, от того, что у него есть вещь, которую можно превратить в деньги, а деньги — в еду, в одежду, в свободу. И в этот момент он подумал: я стал тем, чего боялся. Тем, от кого бежал. Отец бил — и я бью. Отец забирал — и я забираю. Отец не верил — и я никому не верю. Круг замкнулся. И от этого понимания стало так тошно, что

он выронил магнитофон, и тот ударился о пол, и звук был глухой, тяжёлый, как удар сердца.

Но он поднял магнитофон, и пошёл, и продал. Потому что другого пути не было.

Глава 18. Филиппок

Жизнь продолжается. Сергей идёт на квартирную кражу, после чего ему дают прозвище Филиппок.

Квартира была на втором этаже, обычная панельная, с деревянной дверью и хлипким замком — замок Серёга открыл за полторы минуты, двумя отмычками, которые сделал сам из спиц, вытянутых из старого зонта. Внутри было темно и тихо, пахло пылью, старой мебелью и кошачьим кормом — где-то в углу мяукнул кот, но Серёга не обратил внимания. Он работал быстро, привычно: прошёл по комнатам, открыл шкафы, ящики, проверил тумбочки. Взял часы — золотые, «Ракета», на браслоне. Взял серебряные ложки — четыре штуки, в мешочке. Взял деньги — небольшая сумма, в конверте, засунутом под клеёнку на кухне. И увидел шапку.

Шапка была норковая, форменная, тёмно-коричневая, с кокардой — милицейская или военная, Серёга не разбирал. мех был густой, тёплый, и от шапки пахло чем-то дорогим, казённым, важным. Серёга надел её на голову — и она была велика, налезла на глаза, и он сдвинул её, и она висела на ушах, и в зеркале он выглядел смешно: маленький, худой, в чужой огромной шапке, как ребёнок, который надел отцовскую папаху.

А Филиппоком его называли потому, что когда он сделал квартирную кражу, он всё продал с этой квартирной кражи, всё удачно, но не продал только форменную норковую шапку. Он её оставил себе, она хоть ему была великовата в размере, но он хотел её оставить себе, показаться большим взрослым. Она у него висела на ушах и периодически ему налазила на глаза. Из-за этого взрослые дяди прозвали Филиппок.

— О, Филиппок пошёл! — крикнул кто-то из пацанов, когда Серёга вышел во двор в шапке. — Гляньте, генерал!

— Не генерал, а майор, — поправил другой. — У генерала погоны золотые.

— А у Филиппка — уши мёрзнут, — засмеялся первый.

Серёга не обиделся. Он даже не улыбнулся — просто прошёл мимо, держа спину прямой, и шапка сидела криво, и один ухо было закрыто, а другое торчало, и от этого он выглядел ещё смешнее, но никто не смел смеяться ему в лицо — потому что все уже знали: Серёга не любит, когда смеются.

Он долго хранил эту шапку. Она лежала у него под матрасом, на чердаке, и иногда, когда было особенно холодно, он доставал её, надевал и сидел в ней, и она была тёплая, и мех щекотал щёки, и от этого тепла внутри что-то расслаблялось, и он засыпал — крепко, по-детски, без снов, и в эти минуты шапка была не украденной вещью, а чем-то другим: может, памятью о доме, в котором ему должно было быть тепло, но не было. Или обещанием, что когда-нибудь — будет.

Вот так прошла у него первая квартирная кража.

Сергей последнее время становится всё жёстче и жёстче. В компаниях он старается при любом конфликте быть первым, драться до крови. Всё завершается кровью, большими побоями. Сергею приходится так делать, потому что ему надо занимать лидирующие позиции в компаниях и не показывать, чтоб никто не видел его слабость, мягкие стороны, доброту, которую он пытается очень глубоко спрятать внутри себя.

— Серёг, ты чё такой злой? — спросил его однажды Колька, когда они сидели в подвале и делили хлеб. — Раньше ты не был такой.

— Раньше меня били, — ответил Серёга. — А теперь — я бью. Разница есть?

— Есть, — кивнул Колька. — Но ты ж не только их бьёшь. Ты и своих... Если кто-то ошибётся — ты его как чужого.

— Нет чужих, — сказал Серёга. — Есть сильные и слабые. И я не буду слабым.

Колька замолчал, посмотрел на него — и в глазах его было что-то, что Серёга не хотел видеть: жалость. Не насмешка, не страх — жалость. И от этой жалости Серёга разозлился ещё больше, потому что жалость означала, что кто-то видит его насквозь, видит того, маленького, испуганного, которого он так старательно прятал.

Сергей начинает больше красть. А если какие-то происходят... Сергей начинает побаиваться, и тем самым он на-

чинает зарабатывать потихоньку себе прозвище. Потому что на улице очень трудно выжить слабым, мягким и добрым. Времена были суровые, жестокие. Сергей всегда шёл на все разборки, пытался завоевать авторитет у взрослых, у своих сверстников. Он начал переходить на грабежи. В дневное время он вылавливал на рынках, у центральных магазинов своих сверстников, а порой и постарше, кого родители отправляли за продуктами или давали просто так денег на карманные расходы. Сергей отбирал эти деньги, угрожал. Но пока ему всё больно спускалось всё с рук. На родителей вешали иски. Серёже никак не угрожала жаль.

— Эй, ты, стой, — сказал Серёга пацану лет тринадцати, который вышел из магазина с пакетом и торчащим из кармана кошельком. — Дай сюда.

Пацан побледнел, посмотрел на Серёгу — на его взгляд, на его сжатые кулаки, на его репутацию, которая шла впереди него, как запах перед хищником, — и протянул кошелёк молча.

— Сколько у тебя? — спросил Серёга, открывая кошелёк.

— Триста, — тихо сказал пацан. — Мама на продукты дала.

— Триста, — повторил Серёга и почему-то остановился. Что-то в этих словах — «мама на продукты дала» — ударило его, как пощёчина. Мама. Дала. На продукты. У него никогда мама не давала. Не на продукты, не на что.

Он достал сто, протянул обратно:

— На вот. Хлеб купи.

Пацан взял, не веря, и убежал, и Серёга стоял с двумястами рублями в руке и думал: зачем я вернул? Слабость? Нет, не слабость. Что-то другое. Что-то, что он не мог назвать, но что жило в нём, глубоко, тихо, то самое, что он прятал, что давил, что хоронил — и что не умирало.

Глава 19. Машина государства

Но Сергей не понимал, что на данном моменте уже начинала крутиться очень большая машина — машина государства, которая перемалывает безжалостно. Он тогда этого не знал. Он думал, что до совершеннолетия его никто не сможет посадить, и он может творить чё хочешь. На зло всем, на зло отцу, он перестал учиться, его исключили из школы. Он жил как хотел.

В школе был последний разговор. Директор — тётя Раиса, женщина с седой стрижкой и очками на цепочке, вызвала его в кабинет. Серёга сидел на стуле, болтал ногами, не доставая до пола, и смотрел на тётю Раису, а она смотрела на него — долго, тяжело, будто пыталась найти в нём что-то, что ещё можно спасти.

— Сергей, — сказала она, — я не могу тебя оставить. Ты не ходишь на занятия, ты дерёшься, ты... я знаю, что у тебя дома. Но я не могу это исправить. Я могу только предложить тебе остаться — если ты обещаешь.

— Не обещаю, — ответил Серёга.

— Почему?

— Потому что обещания — для тех, у кого есть выбор. У меня выбора нет.

Тётя Раиса молчала, и в этой тишине было что-то тяжёлое, грузное, будто она держала в руках камень и не знала, бросить или опустить.

— Сергей, — сказала она наконец, — ты умный мальчишка. Я это говорю не из жалости. Ты умный. Но улица тебя сожрёт. Ты это понимаешь?

— Может, и сожрёт, — ответил Серёга. — Но дома меня уже сожрали. А на улице я хоть живой.

И вышел. И за спиной слышал, как тётя Раиса сказала кому-то в коридоре: «Ещё одного потеряли». И от этих слов — «ещё одного» — стало ясно: он не первый, и не последний, и она говорила это не в первый раз, и не в последний, и в этом «ещё одного» была вся безнадёжность системы, которая видела, понимала — и ничего не могла.

И почему-то только тогда его замечали, когда он делал чё хотел и жил как хотел. А до этого его никто не замечал. Всё было серое и будничное.

Зато очередной раз после какой-нибудь драки Сергей со сверстниками выпивали, покупали через взрослых сигареты, тусовались в подвалах, тусовались на речке, тусовались в подъездах, пока не выгоняли жильцы подъездов, в садиках на верандах летом. А зимой Сергей постоянно пытался уехать из города куда-нибудь далеко, далеко в другие города, где его не знала милиция, потому что в своём городе его

очень хорошо уже знала милиция. И любой проезжающий УАЗик с сотрудниками милиции тут же его задерживал, тут же составляли какие-нибудь на него акты в комнате милиции, потом отдавали родителям. Родители опять придумывали какое-нибудь ему наказание, но уже ничего не помогало. Сергей просто решил поменять кардинально дорогу своей жизни.

Один такой УАЗик притормозил у него зимой, когда он шёл по улице с пакетом — украденными вещами, завёрнутыми в газету. Из УАЗика вышел лейтенант — молодой, румяный, в шапке набекрень, с таким ретивым выражением лица, будто он на войне и каждый беспризорник — его личный враг.

— Стоять! — крикнул лейтенант. — Серёга? Филиппок?

— Не Серёга, — ответил Серёга, бросая пакет и бросаясь бежать.

Бежал он быстро — привычно, по дворам, через заборы, между гаражей, и лейтенант бежал за ним, но отстал, потому что Серёга знал эти дворы как свои пять пальцев, а лейтенант — нет. Серёга спрятался в подвале, сидел, слушал, как хлопает дверь, как лейтенант матерится и уходит. И думал: опять. Опять начинается. Бежать, прятаться, ждать, бежать снова. Круг.

Так начинал Сергей потихоньку взрослеть. Очень рано он начал взрослеть, потому что ему не дали этого детства, которое он хотел. Он первый раз увидел велосипед и прокатил-

ся на велосипеде, который он украл. И учился он кататься именно на том велике, который украл, потому что других ему никто не покупал. Плавать он тоже научился не отцовским примером, а просто из-за того, что хотели купаться. Все купались, взрослые купались, и он, смотря на окружающих, начинал учиться. У него очень хорошо было развито мышление. С каждым разом на кражах становился всё умнее, всё хитрее, всё проворней.

Один раз он залез в очередную кражу с гаражом, залез — там стояла машина импортная. Завести машину Сергею не получилось у него, она импортная, там очень трудно было ему заводить без ключей. Он начал её осматривать и нашёл в багажнике в чехле убрано собранное ружьё. Сергей подумал: «А чё, можно и ружьё продать, оно тоже дорого стоит». Вот он забрал ружьё. Слава богу, он не смог его собрать, не понял, как его собирать. Слава богу, потому что если бы он его собрал, он бы 100% пошёл бы куда-нибудь пострелять банки ещё чё-нибудь. Неизвестно чем бы это всё закончилось. Но он просто ходил продавал ружьё по городу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.